
ЮРИЙ КАЗАКОВ
На полустанке

ЮРИЙ КАЗАКОВ

НА ПОЛУСТАНКЕ

Рассказы



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА·1959



ТИХОЕ УТРО

Еще только-только прокричали сонные петухи, еще темно было в избе, мать не доила корову и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка.

Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя, спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху.

Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно, и казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте... Все исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба.

Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого

невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое: один погромче, другой потише.

Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к риге. У риги он вытащил из-под доски ржавый косарь и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки. Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю, но Яшка все-таки успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червям свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и задами пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель — Володя.

Яшка заложил в рот испачканные землей пальцы и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо.

— Володька! — позвал он. — Вставай!

Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно, как у слепого, в волосы набилась сенная труха, она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он все дергал тонкой шеей, поводил плечами и почесывал спину.

— А не рано? — сипло спросил он, зевнул и, покачнувшись, схватился рукой за лестницу.

Яшка разозлился: он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил... а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого заморыша, хотел места рыбные ему показать — и вот вместо благодарности и восхищения — «рано!»

— Для кого рано, а для кого не рано! — зло ответил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног.

Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена.

— Ты что, в ботинках пойдешь? — презрительно спросил он и посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. — А калоши наденешь?

Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок.

— Ну да... — меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене. — У вас там, в Москве, небось босиком не ходют...

— Ну и что? — Володя снизу посмотрел в широкое, насмешливо-злое лицо Яшки.

— Да ничего... Забежи домой, пальто возьми...

— Ну и забегу! — сквозь зубы ответил Володя и еще больше покраснел.

Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом. На что уж Колька да Женька Воронковы — рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всем колхозе. Только отведи на место да покажи — яблоками засыплют! А этот... пришел вчера, вежливый... «Пожалуйста, пожалуйста...» Дать ему по шее, что ли? Надо было связываться с этим москвичом, который, наверно, и рыбы в глаза не видал, идет на рыбалку в ботинках!..

— А ты галстук надень, — съязвил Яшка и хрипло засмеялся. — У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суешься.

Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями, глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра! За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая все новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы... Будто скупой хозяин, он показывал все это только на минуту и потом снова плотно смыкался сзади.

Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшке, сердился на Яшку и казался сам себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и, чтобы хоть как-нибудь

заглушить это неприятное чувство, он думал, ожесточаясь: «Ладно, пусть... Пускай издевается, они меня еще узнают, я не позволю им смеяться! Подумаешь, велика важность босиком идти! Воображалы какие!» Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, и на холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал и Яшкиному загару, и той особенной походке, при которой шевелятся плечи и лопатки и даже уши и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком.

Проходили мимо колодца со старым, поросшим зеленью срубом.

— Стой! — сказал хмуро Яшка. — Попьем!

Он подошел к колодцу, загремел цепью, вытащил тяжелую бадью с водой и жадно приник к ней. Пить ему не хотелось, но он считал, что лучше этой воды нигде нет, и поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил ее с огромным наслаждением. Вода, переливаясь через край бадьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал их, но все пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша.

— На, пей! — сказал он наконец Володе, вытирая рукавом губы.

Володе тоже не хотелось пить, но, чтобы еще больше не рассердить Яшку, он послушно припал к бадье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке.

— Ну, как водичка? — самодовольно осведомился Яшка, когда Володя отошел от колодца.

— Законная! — отозвался Володя и поежился.

— Небось в Москве такой нету? — ядовито прищурился Яшка.

Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух и примиряюще улыбнулся.

— Ты ловил ли рыбу-то? — спросил Яшка.

— Нет... Только на Москве-реке видел, как ловят, — упавшим голосом сознался Володя и робко взглянул на Яшку.

Это признание несколько смягчило Яшку, и он, пощупав банку с червями, сказал как бы между прочим:

— Вчера наш завклубом в Плешанском бочаге сома видал...

У Володи заблестели глаза.

— Большой?

— А ты думал! Метра два...А может, и все три — в темноте не разобрать было. Наш завклубом аж перепугался, думал, крокодил. Не веришь?

— Врешь! — восторженно выдохнул Володя и подернул плечами; по его глазам было видно, что верит он всему безусловно.

— Я вру? — Яшка изумился. — Хочешь, айда вечером сегодня ловить! Ну?

— А можно? — с надеждой спросил Володя, и уши его порозовели.

— А чего... — Яшка сплюнул, вытер нос рукавом. — Снасть у меня есть. Лягвы, вьюнов наловим... Выползков захватим — там голавли еще водятся — и на две зари! Ночью костер запалим... Пойдешь?

Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга!

Что это так странно звякнуло там, сзади? Кто это вдруг, будто ударяя раз за разом по натянутой тугой струне, ясно и мелодически прокричал в лугах? Где это было с ним? А может, и не было? Но почему же тогда так знакомо это ощущение восторга и счастья?

Что это затрещало так громко в поле? Мотоцикл? Володя вопросительно посмотрел на Яшку.

— Трактор! — ответил важно Яшка.

— Трактор? Но почему же он трещит?

— Это он заводится... Скоро заведется... Слушай. Во-во... Слыхал? Загудел! Ну, теперь пойдет... Это Федя Костылев — всю ночь пахал с фарами, чуток поспал и опять пошел...

Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил:

— Туманы у вас всегда такие?

— Не... когда чисто. А когда попоздней, к сентябрю поближе, глядишь, и инеем вдарит. А вообще в туман рыба берет — успевай таскать!

— А какая у вас рыба?

— Рыба-то? Рыба всякая... И караси на плесах есть, щука, ну, потом эти... окунь, плотва, лещ... Еще линь. Знаешь линя? Как поросенок. То-олстый! Я сам первый раз поймал — рот разинул.

— А много можно поймать?

— Гм... Всяко бывает. Другой раз кило пять, а другой раз так только... кошке.

— Что это свистит? — Володя остановился, поднял голову.

— Это? Это ути летят... Чирочки.

— Ага... знаю. А это что?

— Дрозды звенят... На рябину прилетели к тете Насте в огород. Ты дроздов-то ловил когда?

— Никогда не ловил...

— У Мишки Каюненка сетка есть, вот погоди, пойдем ловить. Они, дрозды-то, жаднющие... По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку растяни, рябины набросай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук пять под сетку полезут... Потешные они... Не все, правда, но есть толковые... У меня один всю зиму жил, так по-всякому умел: и как паровоз, и как пила...

Деревня скоро осталась позади, бесконечно потянулся низкорослый овес, впереди еле проглядывала темная полоса леса.

— Долго еще идти? — спрашивал Володя.

— Скоро... Вот рядом, пошли ходчее, — каждый раз отвечал Яшка.

Вышли на бугор, свернули вправо, лощиной спустились вниз, прошли тропкой через льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река. Она была небольшой, густо поросла ракитником, ветлой по берегам, ясно звенела на перекатах и часто разливалась глубокими мрачными омутами.

Солнце наконец взошло; тонко заржала в лугах лошадь, и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело все вокруг; еще отчетливей стала видна седая роса на елках и кустах, а туман пришел в движение, поредел и стал неохотно открывать стога сена, темные на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла. В омутах раздавались редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга тихонько покачивалась.

Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шел все дальше берегом реки. Они почти по пояс вымокли в росе, когда наконец Яшка шепотом сказал: «Здесь!» — и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же, невидимые, закрякали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянули над рекой, пропадая в тумане. Яшка съежился и зашипел, как гусь. Володя облизал пересохшие губы и спрыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился мрачности, которая царила в этом омуте. Пахло сыростью, глиной и тиной, вода была черной, ветлы в буйном росте почти закрыли все небо, и, несмотря на то, что верхушки их уже порозовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь, у воды, было сыро, угрюмо и холодно.

— Тут, знаешь, глубина какая? — Яшка округлил глаза. — Тут и дна нету...

Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у противоположного берега гулко ударила рыба.

— В этом бочаге у нас никто не купается...

— Почему? — слабым голосом спросил Володя.

— Засасывает... Как ноги опустил вниз, так все... Вода как лед и вниз утягивает. Мишка Каюненок говорил, там осьминоги на дне лежат.

— Осьминоги только... в море, — неуверенно сказал Володя и еще отодвинулся.

— В море... Сам знаю! А Мишка видал! Пошел на рыбалку, идет мимо, глядит, из воды щуп и вот по берегу шарит... Ну? Мишка аж до самой деревни бег! Хотя, наверно, он врет, я его знаю, — несколько

неожиданно заключил Яшка и стал разматывать удочки.

Володя приободрился, а Яшка, уже забыв про осьминогов, нетерпеливо поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплескивала рыба, лицо его принимало напряженно-страдальческое выражение.

Размотав удочки, он передал одну из них Володе, отсыпал ему в спичечную коробку червей и глазами показал место, где ловить.

Закинув насадку, Яшка, не выпуская из рук удилища, нетерпеливо уставился на поплавок. Почти сейчас же закинул свою насадку и Володя, но зацепил при этом удилищем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю, выругался шепотом, а когда перевел взгляд опять на поплавок, то вместо него увидел только легкие расходящиеся круги. Яшка тотчас с силой подсек, плавно повел рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глубине упруго заходила рыба, но напряжение лески вдруг ослабло, и из воды, чмокнув, выскочил пустой крючок. Яшка задрожал от ярости.

— Ушла, а? Ушла... — пришепетывал он, надевая мокрыми руками нового червя на крючок.

Снова забросил насадку и снова, не выпуская из рук удилища, неотрывно смотрел на поплавок, ожидая поклевки. Но поклевки не было, и даже всплесков не стало слышно. Рука у Яшки скоро устала, и он осторожно воткнул удилище в мягкий берег. Володя посмотрел на Яшку и тоже воткнул свое удилище.

Солнце, поднимаясь все выше, заглянуло наконец и в этот мрачный омут. Вода сразу ослепительно засверкала, и загорелись капли росы на листьях, на траве и на цветах.

Володя, жмурясь, посмотрел на свой поплавок, потом оглянулся и неуверенно спросил:

— А что, может рыба в другой бочаг уйти?

— Ясное дело! — злобно ответил Яшка. — Та сорвалась и всех распугала. А здоровая, верно, была... Я как дернул, так у меня руку сразу вниз потащило! Может, на кило потянула бы.

Яшке немного стыдно было, что он упустил рыбу, но, как часто бывает, вину свою он склонен был приписать Володе. «Тоже мне рыбак! — думал он. — Сидит раскорякой... Один ловишь или с настоящим рыбаком, только успевай таскать...» Он хотел чем-нибудь уколоть Володю, но вдруг схватился за удочку: поплавок чуть шевельнулся. Напрягаясь, будто дерево с корнем вырывая, он медленно вытащил удочку из земли и, держа ее на весу, чуть приподнял вверх. Поплавок снова качнулся, лег набок, чуть подержался в таком положении и опять выпрямился. Яшка перевел дыхание, скосил глаза и увидел, как Володя, побледнев, медленно приподнимается. Яшке стало жарко, пот мелкими капельками выступил у него на носу и верхней губе. Поплавок опять вздрогнул, пошел в сторону, погрузился наполовину и наконец исчез, оставив после себя едва заметный завиток воды. Яшка, как и в прошлый раз, мягко подсек и сразу подался вперед, стараясь выпрямить удилище. Леска с дрожащим на ней поплавком вычертила кривую, Яшка привстал, перехватил удочку другой рукой и, чувствуя сильные и частые рывки, опять плавно повел руками вправо. Володя подскочил к Яшке и, блестя отчаянными круглыми глазами, закричал тонким голосом:

— Давай, давай, дава-ай!

— Уйди! — просипел Яшка, пятясь, часто переступая ногами.

На мгновенье рыба вырвалась из воды, показала свой сверкающий широкий бок, туго ударила хвостом, подняла фонтан розовых брызг и опять ринулась в холодную глубину. Но Яшка, уперев комель удилища в живот, все пятился и кричал:

— Врешь, не уйде-ешь!..

Наконец он подвел упирающуюся рыбу к берегу, рывком выбросил ее на траву и сейчас же упал на нее животом. У Володи пересохло горло, сердце неистово колотилось...

— Что у тебя? — присев на корточки, спрашивал он. — Покажи, что у тебя?

— Ле-ещ! — с упоением выговорил Яшка.

Он осторожно вытащил из-под живота большого холодного леща, повернул к Володе свое счастливое широкое лицо, сипло засмеялся было, но улыбка его внезапно пропала, глаза испуганно уставились на что-то за спиной Володи, он съежился, ахнул:

— Удочка-то... Глянь-ка!

Володя обернулся и увидел, что его удочка, отвалив ком земли, медленно сползает в воду и что-то сильно дергает леску. Он вскочил, споткнулся и, на коленях подтянувшись к удочке, успел схватить ее. Удилище сильно согнулось. Володя повернул к Яшке круглое бледное лицо.

— Держи! — крикнул Яшка.

Но в этот момент земля под ногами у Володи зашевелилась, подалась, он потерял равновесие, выпустил удочку, нелепо, будто ловя мяч, всплеснул руками, звонко крикнул: «Ааа...» — и упал в воду.

— Дурак! — закричал Яшка, злобно и страдальчески искривив лицо. — Недотепа чертова!..

Он вскочил, схватил ком земли с травой, готовясь швырнуть в лицо Володе, как только он вынырнет. Но, взглянув на воду, он замер, и у него появилось то томительное чувство, которое испытываешь во сне: Володя в трех метрах от берега бил, шлепал по воде руками, запрокидывал к небу белое лицо с выпученными глазами, захлебывался и, окунаясь в воду, все силился что-то крикнуть, но в горле у него клокотало и получалось: «Уаа... Уаа...»

«Тонет! — с ужасом подумал Яшка. — Утягивает!» Бросил комок земли и, вытирая липкую руку о штаны, чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от воды. На ум ему сразу пришел рассказ Мишки о громадных осьминогах на дне бочага, в груди и животе стало холодно от ужаса: он понял, что Володю схватил осьминог... Земля сыпалась у него из-под ног, он упирался трясущимися руками и, совсем как во сне, неповоротливо и тяжело лез вверх.

Наконец, подгоняемый страшными звуками, которые издавал Володя, Яшка выскочил на луг и кинулся к деревне, но, не пробежав и десяти шагов, остановился, будто споткнувшись, чувствуя, что убежать

никак нельзя. Поблизости не было никого, и некому было крикнуть о помощи... Яшка судорожно шарил в карманах и в сумке в поисках хоть какой-нибудь бечевки и, не найдя ничего, бледный, стал подкрадываться к бочагу. Подойдя к обрыву, он заглянул вниз, ожидая увидеть страшное и в то же время надеясь, что все как-то обошлось, и опять увидел Володю. Володя теперь уже не бился, он почти весь скрылся под водой, только макушка с торчащими волосами была еще видна... Она скрывалась и опять показывалась, скрывалась и показывалась... Яшка, не отрывая взгляда от этой макушки, начал расстегивать штаны, потом вскрикнул и скатился вниз. Высвободившись из штанов, он, как был, в рубашке, с сумкой через плечо, прыгнул в воду, в два взмаха подплыл к Володе, схватил его за руку.

Володя сразу же вцепился в Яшку, быстро-быстро стал перебирать руками, цепляясь за рубашку и сумку, наваливаться на него и по-прежнему выдавливал из себя нечеловечески-страшные звуки: «Уаа... Уаа...» Вода хлынула Яшке в рот. Чувствуя у себя на шее мертвую хватку, он попытался выставить из воды свое лицо, но Володя, дрожа мелкой дрожью, все карабкался на него, наваливался всей тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь, глотая воду, и тогда дикий ужас охватил его, в глазах с ослепительной силой вспыхнули красные и желтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что пришла его смерть, дернулся из последних сил, забарахтался, закричал так же нечеловечески страшно, как кричал Володя минуту назад, ударил его ногой в живот, вынырнул, увидел сквозь бегущую с волос воду яркий сплющенный шар солнца, чувствуя еще на себе тяжесть Володи, оторвал, сбросил его с себя, замолотил по воде руками и ногами и, поднимая буруны пены, в ужасе бросился к берегу.

И, только ухватясь рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на ее поверхности.. Из глубины весело выскочили не-

сколько пузырьков воздуха, и у Яшки застучали зубы. Он оглянулся: ярко светило солнце, и листья кустов и ветлы блестели, радужно горела паутина между цветами, и трясогузка сидела наверху, на бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку, и все было так же, как и всегда, все дышало покоем и тишиной, и стояло над землей тихое утро, а между тем вот только сейчас, совсем недавно случилось страшное — только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его.

Яшка моргнул, отпустил осоку, повел плечами под мокрой рубашкой, глубоко, с перерывами вдохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не мог сначала ничего разобрать: кругом дрожали неясные желтоватые и зеленоватые блики и какие-то травы, освещенные солнцем. Но свет солнца не проникал туда, в глубину... Яшка опустился еще ниже, проплыл немного, задевая руками и лицом за травы, и тут увидел Володю. Володя держался на боку, одна нога его запуталась в траве, а сам он медленно поворачивался, покачиваясь, подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яшке показалось, что Володя притворяется и нарочно покачивает рукой, что он следит за ним, чтобы схватить, как только он дотронется до него.

Чувствуя, что сейчас задохнется, Яшка рванулся к Володе, схватил его за руку, зажмурился, торопливо дернул тело Володи вверх и удивился, как легко и послушно оно последовало за ним. Вынырнув, он жадно задышал, и теперь ему ничего не нужно и не важно было, кроме как дышать и чувствовать, как грудь раз за разом наполняется удивительно чистым и сладким воздухом.

Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть было тяжело. Почувствовав дно под ногами, Яшка тяжело вылез сам и вытащил Володю. Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мертвое, неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным...

Перевернув Володю на спину, он стал разводить его руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был все такой же белый и холодный. «Помер», — с испугом подумал Яшка, и ему стало очень страшно. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного, холодного лица!

Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватало сил, вверх и, побагровев от натуги, начал трясти. Голова Володи билась по земле, волосы свалялись от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, окончательно обессилев и упав духом, хотел бросить все и бежать куда глаза глядят, — в этот самый момент изо рта Володи хлынула вода, он застонал, и судорога прошла по его телу. Яшка выпустил Володины ноги, закрыл глаза и сел на землю.

Володя оперся слабыми руками, привстал, точно собираясь куда-то бежать, но снова повалился, снова зашелся судорожным кашлем, брызгаясь водой и корчась на сырой траве.. Яшка отполз в сторону и расслабленно смотрел на Володю. Никого сейчас не любил он больше Володи, ничто на свете не было ему милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая, влюбленная улыбка светилась в глазах Яшки, с нежностью смотрел он на Володю и бессмысленно спрашивал:

— Ну как? А? Ну как?..

Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду и незнакомым, хриплым голосом, с заметным усилием, заикаясь, выговорил:

— Как я... то-нул...

Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слезы, и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слез. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что все хорошо кончилось, что Мишка Каюненок врал и никаких осьминогов в этом бочаге нет.

Глаза Володи потемнели, рот приоткрылся, с испугом и недоумением смотрел он на Яшку.

— Ты... что? — выдавил он из себя.

— Да-а... — выговорил Яшка, что есть силы стараясь не плакать и вытирая глаза штанами. — Ты уто-о... утопа-ать... а мне тебя спа-а... спаса-а-ать...

И он заревел еще отчаянней и громче.

Володя заморгал, покривился, посмотрел опять на воду, и сердце его дрогнуло, он все вспомнил...

— Ка... как я тону-ул!.. — будто удивляясь, сказал он и тоже заплакал, дергая худыми плечами, беспомощно опустив голову и отворачиваясь от своего спасителя.

Вода в омуте давно успокоилась, рыба с Володиной удочки сорвалась, удочка прибилась к берегу Светило солнце, пылали кусты, обрызганные росой, и только вода в омуте оставалась все такой же черной.

Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его теплых струях. Издали, с полей, с другой стороны реки, вместе с порывами теплого ветра летели запахи сена и сладкого клевера. И запахи эти, смешиваясь с более дальними, но острыми запахами леса, и этот легкий теплый ветер были похожи на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому светлому дню.

1954



НА ПОЛУСТАНКЕ

Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берез.

У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у ней хвост на сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз: должно быть, думала о чем-то тяжелом или дремала.

Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания; оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее при-

таилось что-то болезненно-невысказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботиках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеватое ухо парня.

Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то своем, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко...

— Вот она, жизнь-то, как повернулась, а? — заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. — Теперь мое дело — порядок! — Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же квартиру... Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: самолучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! Чуешь?

— А я как же? — тихо спросила девушка.

— Ты-то? — Парень покосился на нее, кашлянул. — Говорено было. Дай огляжусь — приеду. Мне сейчас некогда... Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно... Как они там живут? Тренируются... А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду, житуха начнется — дай бог! Н-да... А к тебе приеду... Я потом это... напишу.

Вдали послышался слабый, неясный шум поезда; унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок; дверь станции хлопнула, на перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с темными пятнами мазута.

Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил:

— Какой вагон?

Парень тяжело повернул голову на короткой тол-

стой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.

— Девятый. А что?

— Ну-ну...— пробормотал начальник и снова зевнул.— Девятый, говоришь? Так... Девятый. А погода — сволочь. Ох-хо-хо...

Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз, устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку: та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.

— А ну, хватит! — проворчал парень, нагибаясь за чемоданом.— Слыхала? Хватит, я говорю!

Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь:

— Ты там берегись, слишком-то не подымай... А то жила какая-нибудь лопнет... О себе подумай, не надрывайся... Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду... Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю...

— А ну, брось! — сказал парень.— Сказано — приеду...

Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом все медленней и медленней пошли усталые вагоны: один, другой, третий...

— Вон девятый! — быстро сказала девушка.— Подождем!

Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые, бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая с близорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал:

— Девушка, это какая станция?

— Лунданка, — сипло сказал проводник.

— Базар есть? — спросил человек в пижаме, попрежнему глядя на девушку.

— Нету базара, — опять отозвался проводник. — Две минуты стоим.

— Как же так? — изумился пассажир, все еще глядя на девушку.

—Закройте окно! — попросили из вагона капризным голосом.

Человек в пижаме завертелся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился.

Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке.

— Ну, прощай, что ли, — тяжело проговорил он и сунул руки в карманы.

У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась лицом парню в плечо.

— Скучно мне будет, — шептала она. — Пиши почаще-то... Слышишь? Пиши-и... Ведь приедешь?

— Сказано уже, — неохотно и испуганно говорил парень. — Оботри слезы-то... Ну!

— Да я ничего, — шептала девушка, задыхаясь, быстро, по-беличьи отирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню. — Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то...

— Я помню, мне что! — хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.

— А мне... Я всю жизнь для тебя... Ты знай это!

— Сказано... — бубнил парень, равнодушно глядя себе под ноги.

Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол.

— Гражданин, попрошу в вагон, останетесь... — сказал проводник и первым полез торопливо на площадку.

Девушка побледнела, схватилась рукою за рот.

— Вася! — закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров: те сразу отвернулись. — Вася! По... поцелуй же меня...

— Мне что... — пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом вы-

прямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки...

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно отозвалось из леса короткое, глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. Заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:

— Слышь... Не приеду я больше! Слышь...

Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову... Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно ее. Она напрягалась, прижимала руку к нестерпимо болевшему сердцу, робкие, почти еще детские губы ее все белели...

— Берегись! — раздался вдруг дикий крик над ее головой.

Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завыла по-бабьи, качаясь, будто пьяная:

— Уеха-а-ал!..

Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул.

— Уехал? — спросил он. — Н-да... Нынче все едут.

Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевок ногой.

— Скоро и я уеду... — забормотал он. — На юг подамся. Тут скука, дожди... А там, на юге-то, теплынь! Эти — как их? — кипарисы...

Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботики, спросил негромко и равнодушно:

— Вы не из «Красного маяка» будете? А? Н-да... Вон оно что... А погода-то — сволочь. Факт!

И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи.

Девушка долго еще стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела: ни темного, мокрого леса, ни тускло блестевших рельсов, ни бурой никлой травы... Видела она рябое и грубое лицо парня.

Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал к проселочной дороге.

Девушка сидела не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком.

1954



НОЧЬ

Мне нужно было попасть на утиное озеро к рассвету, и я вышел из дому ночью, чтобы до утра быть на месте.

Я шел по мягкой пыльной дороге, спускался в овраги, поднимался на пригорки, проходил реденькие сосновые борки с застоявшимся запахом смолы и земляники, снова выходил в поле... Никто не догонял меня, никто не попадался навстречу — я был один в ночи.

Иногда вдоль дороги тянулась рожь. Она созрела уже, стояла недвижно, нежно светлея в темноте; склонившиеся к дороге колосья слабо касались моих сапог и рук, и прикосновения эти были похожи на молчаливую, робкую ласку. Воздух был тепел и чист; сильно мерцали звезды; пахло сеном и пылью и изредка горьковатой свежестью ночных лугов; за полями, за рекой, за лесными далями слабо полыхали зарницы.

Скоро дорога, мягкая и беззвучная, ушла в сторону, и я ступил на твердую мозолистую тропку, суетливо вившуюся вдоль берега реки. Запахло речной сыростью, глиной, потянуло влажным холодом. Плывущие в темноте бревна изредка сталкивались, и то-

гда раздавался глухой слабый звук, будто кто-то тихонько стукнул обухом топора по дереву. Далеко впереди на другой стороне реки яркой точкой горел костер; иногда он пропадал за деревьями, потом снова появлялся, и узкая прерывистая полоска света тянулась от него по воде.

Хорошо думается в такие минуты: вспоминается вдруг далекое и забытое, обступают тесным кругом когда-то знакомые и родные лица, и мечты сладко теснят грудь, и мало-помалу начинает казаться, что все это уже было когда-то... Будто проходил уже прохладными от сырости оврагами и сухими борками, и река темнела, с плеском обрывались в нее куски подмытого берега, тихонько стукались плывущие по воде бревна, появлялись и исчезали черные стога сена, и деревья с искривленными в немой борьбе ветвями, и зарастающие тиной озерца с черными окнами... Только никак не вспомнить, где же, когда это было, в какую счастливую пору жизни.

Я шел уже часа полтора, а до озера было еще далеко. Ночью тяжело идти: надоедает спотыкаться о корни и кротовые кучи, устаешь от боязни сбиться с дороги, заблудиться в незнакомом лесу. Я почти жалел уже, что ушел ночью из дому, и думал, не присесть ли под деревом, не подождать ли рассвета, как вдруг до меня донесся тонкий дрожащий звук, похожий на песню. Я остановился, прислушался... Да, это была песня! Слов нельзя было разобрать, слышалось только протяжное «Оооо... Ааао...», — но я обрадовался этому голосу и на всякий случай прибавил шагу. Песня не приближалась и не удалялась, а все так же тянулась тонкой запутанной нитью. «Кто это? — думал я. — Сплавщик? Рыбак? Охотник? А может быть, как и я, идет ночью, идет впереди меня и, чтобы не было скучно, поет песню?»

Я пошел быстрее, выдрался из елового колка, прошел осиновым подлеском и наконец внизу, в небольшом распадке, окруженном со всех сторон густым лесом, увидел костер. Возле него, подперев рукой голову, лежал человек, смотрел в огонь и негромко пел.

Спускаясь вниз, я споткнулся, громко затрещал валежником, человек у костра замолчал, живо повернулся, вскочил и стал вглядываться в мою сторону, загораживаясь ладонью от костра.

— Кто тут? — вполголоса испуганно спросил он.

— Охотник, — ответил я, подходя к костру. — Не бойтесь...

— А я и не боюсь. — Он сделал равнодушное лицо. — Мне что! Охотник так охотник...

Человек, на чью песню я так спешил, оказался кривоногим парнем лет шестнадцати. Он был некрасив, с худой кадыкастой шеей и большими оттопыренными ушами. Одет он был в телогрейку, замасленные ватные брюки и кирзовые сапоги. На голове, будто приклеенная, сидела маленькая кепочка с коротким козырьком.

Несколько секунд он пристально разглядывал меня, потом с видимым любопытством спросил:

— За утями идете?

— Да вот хочу на озеро пройти, — сказал я, снимая ружье.

— Это на какое же?

Я объяснил.

— Ну, тут близко! — успокоил он меня и, повернув голову к реке, прислушался.

— Это не вы сейчас кричали? — спросил он немного погодя.

— Нет... А что?

— Не знаю, кричал кто-то... Крикнет, помолчит, опять крикнет... Я хотел было идти, да Лешка забоялся, брат мой...

Он снова замолчал, и я услышал частые легкие шаги. Кто-то бежал от реки сюда, к костру.

— Семен, Семен! — послышался испуганный и восторженный мальчишеский голос. Из темноты на свет костра выскочил мальчик лет восьми в большой, не по росту, телогрейке. Увидев меня, он сразу остановился и, приоткрыв рот, стал переводить взгляд с меня на Семена.

— Ну что? — лениво спросил Семен.

— Ой, Семен! Сидит ктой-то! — Мальчик снова

посмотрел на меня и перевел дух. — На двух крайних нету, а на средней сидит! Я рукой взялся, а там — ходит!

— Врешь!

— Большая рыбина ходит! — И он сделал рукой волнообразное движение, показывая, как «ходит».

Семен вскочил, подтянул штаны и, пробормотав: «Я сейчас!», пропал в темноте. Мальчик некоторое время, не моргая, смотрел на меня, потом, не отводя от меня взгляда, ступил назад раз, ступил другой, повернулся и тоже бросился в темноту — только ноги затопотали.

Скоро я услышал странную возню, приглушенные голоса, плеск воды; затем все стихло, раздались шаги, и ребята вернулись к костру. Семен нес на вытянутой руке небольшую стерлядку. Стерлядка слабо шевелила хвостом.

Запихнув рыбу в полотняную сумку, Семен сел возле меня и, улыбнувшись, сказал:

— Вот так и ловим. Три штуки уже поймали.

— Одну я вытащил, — прошептал мальчик и, потупившись, стал теребить пуговицу на телогрейке.

— Н-но? — веско произнес Семен и зловеще замолчал.

Мальчик засопел и еще больше смутился.

— Брат мой, — отрекомендовал мне его Семен. — Лешка. Вы не глядите, что он тихий, — притворяется...

Леша пробубнил себе что-то под нос.

— Что? — Семен широко открыл глаза — Что ты сказал?

— Ничего... — испугался Леша.

— Смотри у меня! — Семен исподлобья глянул на меня, и вдруг мгновенная озорная улыбка осветила его лицо, блеснули глаза, сверкнули зубы, даже уши сдвинулись. Леша тоже фыркнул, но тотчас спохватился и еще ниже опустил голову. Семен полез в карман, немного помедлил, вытащил наконец измятую пачку папирос, закурил и предложил мне. Я отказался.

— Не курите, значит? — сожалеюще сказал Семен и покосился на Лешу. Потом облокотился, слад-

ко зевнул, поежился и замер, мечтательно глядя в огонь. Лицо его затуманилось и приняло то теплое, неопределенное и поэтическое выражение, какое бывает у людей, думающих о чем-то неясном, но очень хорошем. Костер потухал, угли, остывая, подергивались красноватым пеплом; кругом стояла глухая ночная тишина, только наверху, где-то в кустах, позванивая боталом, бродила лошадь.

Леша внезапно поднял голову и прислушался.

— Идет ктой-то, — боязливо выговорил он и пересел ближе к Семену.

— Ерунда! — сказал Семен и покосился на мое ружье.

Несколько секунд прошли в безмолвии, затем явственно послышался хруст валежника. Семен загадочно посмотрел на меня и напряженно усмехнулся.

— Медведь, наверно, — прошептал Леша и еще ближе подвинулся к Семену. Глаза его с расширенными зрачками стали огромными.

— Полуношничаем, рыбаки? — неожиданно громко раздался хрипловатый голос и к костру, как-то сразу обозначившись, подошел пожилой человек с ружьем. Не взглянув на нас, он вытянул ногу к огню и стал, огорченно покряхтывая, разглядывать оторвавшуюся подметку.

— Ах, будь ты неладна, — бормотал он. — Вот оказия, а? Ну что, угадал я? Рыбачите? — снова обратился он к нам и поднял голову. — Э-э, да тут знакомые! — Он улыбнулся ребятам. — Что же, много наловили?

Семен воровато бросил папироску в костер и строго посмотрел на Лешу. Тот фыркнул.

— Маловато, Петр Андреич, — смущенно заулыбался Семен. — Разве вот под утро что будет...

— А ну, покажь, покажь...

Семен с готовностью вывалил рыбу из сумки.

— А, стерлядки, — с удовольствием выговорил Петр Андреевич. — Ну и хорошо. Мелковаты только.

— Раз на раз не приходится, Петр Андреич.

— А конешно, — охотно согласился Петр Андреевич и задумался. Глядя в огонь, будто уйдя от нас куда-то, он машинально полез в карман, вынул папиросы, закурил, бросил спичку в костер и все так же бездумно проследил, как она горела маленьким ярким пламенем и, погаснув, растаяла, слилась с розовым пеплом.

Был он не стар, но с глубокими морщинами на щеках; губы тонкие, нос длинный и тоже тонкий, лоб — шишковатый, узкий. Вообще лицо его производило впечатление чего-то жесткого, напряженного. Ружье у него было старое, одноствольное, с перетянутым проволокой прикладом, из сапога с оторвавшейся подметкой выглядывала портянка...

— А вы что, или на Суглинки идете? — спросил вдруг Семен.

— А? — вздрогнул Петр Андреевич. — На Суглинки? Почто на Суглинки? Бреду дальше...

— А то наш механик давеча полную сумку приволок оттуда.

— Двух щук поймал на дорожку, — вставил Леша. — Бо-ольшие щуки.

— Это Попов-то? — спросил Петр Андреевич. — Ну, ему хорошо — он с собакой. Нет, я дойду до Овшанки, а там полевее, акурат у реки, озерцо есть, маленькое озерцо-то...

— Около Овшанки? — задумчиво переспросил Семен. — Нет, в тех краях не был я... Не приходилось. Я все больше по этому берегу места знаю.

Снова помолчали. Петр Андреевич переступал с ноги на ногу, негромко покашливал. Леша свернулся калачиком возле брата. Ему было очень хорошо, это проглядывало решительно во всем: в уютной позе, в блеске глаз, частой улыбке...

— Не знаешь, перевозчик у себя? — спросил Петр Андреевич.

— У себя. Давеча проплыл вверх. С гармошкой плыли... Гуляют они. Сын женился. Мотьку Медуницыну из второго цеха взял.

— Это рябенькая такая?

— Она. Чего он хорошего в ней нашел? Я бы не женился на такой...

— Ну, ты еще в этих делах не понимаешь, — усмехнулся Петр Андреевич и повернул голову в сторону перевоза, как бы надеясь услышать гуляние. — Так гуляет, говоришь, перевозчик-то? А он перевезет ли меня? — обеспокоился вдруг он. — Не повезет, пожалуй, а? А то — повезет, да и утопит? Пьяные, наверно, все...

Семен тоже повернулся в сторону перевоза.

— Кто ее знает, — сказал он неуверенно. — Да вы лодку-то сами отвяжите, да и переедете. У него ведь их три, лодки-то.

— А и верно! — Петр Андреевич засмеялся и посмотрел на свой сапог.

— А тут еще тоже холера! Подошва-то напрочь отскочила. Нет ли веревочки? Иду, понимаешь, темень... О корень споткнулся, будь ты неладна, — только трыкнуло!

Леша вытащил из-за пазухи кусок бечевки. Петр Андреевич взял его, подергал и стал перевязывать головку сапога.

— Вы на что ловите-то? — невнятно спросил он.

— На подонник, — быстро ответил Семен. — На миногу.

— На миногу? Это хорошо, на миногу, она ее любит, стерлядка-то. А тут я иду, смотрю, на той стороне волки воют. Не слыхали? Подрос, видно, молодняк-то.

— У наших соседей, — оживился Леша, — волк козу утащил. Прямо днем! Коза-то старая была, худая. Как он ее схватил, она мемекнула — и готова! А он через огород да в поле, да полем, полем в лес... Дядя Федор с топором выскочил, глянул, да как топором в стенку саданет! Так и сейчас в стене торчит, никто вынуть не может...

— Это верно, было такое дело, — подтвердил Семен. — А то еще было: иду я тут как-то с рыбалки, а уж вечер, смерклось... Та́к только, немного на закате желтеет, да дорога видна хорошо. И вот прошел я лесок, что за кладбищем — знаете? — и будто кто

меня толканул: оборотился я и сперва не разобрал, а после гляжу, возле кустов будто темнеет что и глаза горят, ровно гнилушки. Трое их, значит, сидят и на меня глядят, а у меня ноги сразу встали, как другой раз во сне бывает: хотел бы бежать, да не могу и по́том ошибло. Думал, конец, но обошлось. Не тронули.

— Летом они к человеку смирные, не трогают, — уверенно сказал Петр Андреевич.

— Дядя Петь... — начал Леша, взглянул на нас и улыбнулся. — А ведь мы на вас думали — медведь! Идет похрястывает...

— Кто думал-то? — Семен пожал плечом. — Сам думал, так на других не вали.

— Нет, ребятки, — улыбнулся Петр Андреевич. — Медведь на огонь не полезет. Хотя и так рассудить: кто тут по ночам бродит? Только медведи да охотники... Тоже охотник? — обратился он ко мне. — Может, места здешние не знакомы вам, так пойдемте со мной. Не хотите? Ну-ну... Конешно, всякий ко своему месту стремится.

Петр Андреевич посмотрел на звезды, протянул широкую темную ладонь Семену.

— Прощай покуда. Побреду, а то скоро светать начнет. Да! Ведь я слыхал тебя прошлый раз в клубе-то... Отец небось гордится? Молодец!

Он похлопал Семена по плечу, кивнул нам с Лешей и пошел во тьму, осторожно ступая перевязанным сапогом. Семен сидел низко опустив голову, ковырял мозоли на ладони, хмыкал. Уши его потемнели.

Леша вдруг потянулся, выгибаясь всем телом, зевнул и потер глаза.

— Спать охота, — заявил он.

— Ну и спи. — Семен почесал брата за ухом. — Спи.

— Да, — Леша недоверчиво улыбнулся. — А сам утром пойдешь проверять и не разбудишь.

— Да разбужу, вот чудашка!

— Дай честное комсомольское!

Семен взглянул на брата, снисходительно улыб-

нулся и лег на спину. Было примерно около двух часов, тьма стала как будто еще плотнее, хотелось лечь и смотреть попеременно в огонь, на звезды, на едва видные ближние деревья, слушать редкие и неясные ночные звуки, гадая, птица ли перепорхнула, шишка ли упала или так что померещилось...

— Лешка! — встрепенувшись, сказал Семен. — Тащи дров!

Леша вскочил, исчез во тьме, громко затрещал сучьями и скоро принес целую охапку сушняку. Отобрав сучья поменьше, он навалил их на костер, сел на корточки и, выпучив глаза, стал раздувать огонь. Он дул так сильно, что от костра полетели угольки, тучей поднялся пепел.

— Гляди, лопнешь, — серьезно заметил Семен.

Леша поднял голову, взглянул на нас бессмысленным взглядом и продолжал дуть с неистовой силой. Наконец сучья все разом ярко вспыхнули, затрещали, вверх полетели крупные искры. Стало горячо, и мы, жмурясь, отодвинулись от огня.

Я полюбопытствовал, за что хвалил Семена Петр Андреевич. Семен смутился и опять принялся за свою ладонь.

— Да так, вообще... — пробормотал он.

— Он у нас всякую музыку сочиняет, — охотно сказал Леша. — У нас в школе даже два раза играл и в клубе...

— Ну? — повернулся к нему Семен. — Дальше что?

— Ничего...

— Тогда помалкивай!

Семен кинул на меня быстрый испытующий взгляд и нехотя признался:

— Вообще-то, конечно, любитель я этого дела.

— Ему батя баян купил, — опять не вытерпел Леша. — Он, знаете, как на баяне играет! Он что хочешь вам сыграет!

— Это верно, — подтвердил Семен и вздохнул. — Верно, играю. А только у меня мечта есть, такая мечта! Как песня раскрывается? Ведь песню-то, ее можно всяко повернуть, и сыграть ее можно, как никто

не играл. Правильно я говорю? Я как играю? Беру мелодию и прибавляю к ней еще голос, и вот песня уже сама по себе, а голос вроде сам по себе. А можно, ежели мало, еще один голос прибавить, и тогда уж получится совсем иная музыка. Но и тут не все. Это только правая рука, а в левой — там гармония. Аккорды, значит. Возьмешь аккорд, вроде и хорошо, но ежели прикинуть на тонкий слух, то чистоты настоящей и вкусу нету. Нету истинной чистоты! А песня, особо ежели долгая, она должна свой запах иметь, как вот река или лес. Я вот беру в клубе сборники для баяна. Ну, сыграю и вижу: не то! Схватит меня за сердце, не могу я, ну, совсем не могу — и начинаю по-своему перекладывать...

Он вдруг подозрительно вгляделся в меня, стараясь угадать, не смеюсь ли я над ним. И, успокоенный, продолжал, часто моргая, шевеля пальцами темных рук:

— У меня мечта есть... Сочинить одну вещь, чтобы вот такую ночь изобразить. А что? Лежу ночью у костра, и вот у меня в ушах так и играет, так и мерещится. А сочинил бы я так: сперва, чтобы скрипки вступили тонко-тонко. И это была бы вроде как тишина. А потом еще и скрипки тянут, а уже заиграет этот... английский рожок, таким звуком — хриповатым. Заиграет он такую мелодию, что вот закрой глаза и лети над землей куда хочешь, а под тобой всё озера, реки, города и везде тихо, темно. Рожок играет, а виолончели ему другой голос подают, поют они на низких струнах, говорят, вроде как сосны гудят, а скрипки всё свое тянут и тянут тихонько. Тут и другие инструменты вступают и все вместе играют громче и громче: ту-ру-рум, та-та-та... И заиграет весь оркестр необыкновенную музыку! Главное, чтоб там инструменты были, которые, как колокольцы, звенят. Ну, а после надо понемногу инструменты убирать, и будет все тише и тише, и окончат опять же одни скрипки, долго будут тянуть, пока совсем не замрут...

Семен смотрел в темноту, моргал, облизывал пересохшие губы.

— А еще, — продолжал он, — надо будет колокол

добавить, чтобы он звонил равномерно. Только потихоньку. А как луна из-за леса выходит, ведь это можно изобразить?.. А назову я ее «Ночь». Или нет! Надо, чтобы покрасивше было... Вот лучше: «Ночная сказка» или «Ночная звезда»... Я вот рассказать вам не могу про ночь и все такое, ну звезды там или туман над рекой. А в музыке я все могу, на сердце щемит у меня, лягу спать — не сплю, а засну — часто такая музыка играет! Проснусь — все хочу вспомнить, и не вспомнишь... Учиться надо, это уж обязательно! Я лебедчиком работаю, лес на берег выкатываю. Сижу я, рычагами кручу, зазвенит лебедка, или автомашина просигналит, или гудок на обед прогудит, а я тренируюсь, звуки определяю, какой звук: «до» там или, может, «фа-диез»...

Семен замолчал, смущенно улыбнулся и стал поправлять костер. Неожиданно что-то странное и мощное родилось в воздухе, родилось, нарушило ночную глушь, всколыхнуло настоявшуюся звездную тишину, пронеслось по реке.

— Эге-геее... — донесся к нам низкий могучий вопль.

Мы сразу повернулись к реке и первое мгновение недоуменно прислушивались. Тишина... И опять незримо пролетел мощный крик:

— Эге-геее...

— Сплавщики голос пробуют! — облегченно засмеялся Семен. — Правда, здорово? По реке звук далеко разносится. Лодка ночью плывет, так за версту слыхать, как весла скрипят. А то в другой раз такое послышится, что и не поймешь, что такое. Вроде крикнет кто или вздохнет, или вот так тихонько: «тииу, тииу, тиииу».

Он очень похоже изобразил странный звук, который и я часто слышал ночью на берегу рек и болот и никак не мог догадаться, что бы это значило.

— Лешка боится, а я нет, — улыбнулся Семен. — Скучно, правда, одному, а так — хорошо!

— Никого я не боюсь! — сказал вдруг громко Леша и прищурился.

— Не боишься? А ну-ка, сходи сейчас на Хлы-

стово болото, принеси мне оттуда метелок. Ну? Сходи, сходи!

Леша повел ртом, оглянулся назад в темноту и засмеялся. Семен помолчал немного.

— Народ здесь сильный ужасно, — снова начал он. — Есть ребята силы такой, что хоть кого хочешь побьют. Вы думаете, этот сплавщик по делу кричал? А он просто так: на берег выйдет и орет, слушает, как его голос по лесам раздается.

— Дядь, а дядь! Стрельните! — попросил внезапно Леша и жадно посмотрел на мое ружье.

— А ты сам стрельни, — ответил я, подавая ему ружье.

— Баловство! — недовольно сказал Семен. — Только патрону перевод.

Но в глазах его зажглось такое же, как и у Леши, острое любопытство. Леша огляделся, увидел высокий осиновый пень невдалеке и через секунду уже старательно укреплял на этом пне свою старую шапку.

— Погоди! — строго остановил его Семен. — Сейчас огонь раздуем, виднее будет.

Он навалил на костер хворосту. Пламя померкло, пополз густой розовый дым, потом тонкие голубоватые язычки стали там и сям выскакивать наверх, наконец сразу занялась вся куча.

— Давай! — скомандовал Семен и, отгородившись от огня ладонью, уставился на пень с шапкой.

Леша стал целиться. Целился он страшно долго, шмыгал носом, переводил дыхание, смотрел на курок, на палец... Ожидание выстрела становилось тягостным, и я заметил, как напряглась у Семена рука, а глаза прищурились, будто он смотрел на яркий свет.

— Да скоро ты... — не выдержал он.

Но в этот момент ружье в руках Леши подбросило вверх, сверкнул длинный голубоватый сноп пламени, оглушительно бахнул выстрел, шапка исчезла, а эхо пошло перекатами по реке и лесам. Наверху испуганно всхрапнула лошадь, зазвенело ботало, за-

трещали кусты. Леша бросил еще дымившееся ружье и стремительно кинулся в темноту.

— Здорово! — восхитился Семен и потянулся навстречу Леше, возвращавшемуся с шапкой. — Вот это бьет!

Шапка была торжественно исследована при свете костра. В нее попало несколько крупных дробин, и вата клочьями торчала из подкладки.

Семен задумался.

— Знаете что? — обратился он ко мне. — Хотите, поведу я вас на такое место, в каком отродясь никакие охотники не бывали? Возьму отгул, у дяди ружье выпрошу, эх, и закатимся мы с вами дня на два! Тайное место, птица там непуганая. Идешь по лесу — направо рябчики, тетери, глухари, налево — озеро, а на том озере гуси и крякуши открыто плавают и на выстрел допускают близко, а после выстрела никуда с озера не улетают, только отлетывают малость. Там я был один раз с дядей и дорогу туда помню. Никого там нету: ни охотников, ни ягодниц, а только одни медведи по малину ходят. Медведи смирные, из-за кустов поглядывают. А брусника там растет такая, что ежели выйти на гарь да поверху кочек глянуть, то все кочки кажутся красными. Земляника растет, и землянику ту никто не берет, и вся она черная, переспелая и такая сладкая — слаще сахара! Войдешь в смородиновые кусты — такой в них крепкий дух, что голова кружится. А ежели по кустам идешь, то тетери и глухари совсем близко подпускают, а потом только — тых, тых, тых! — взлетают, и ветер от них аж в лицо дует. Еще там белки в лесу скачут, только они сейчас рыжие, шерсть у них никудышная, и мы их не бьем. А еще там под косогором, ежели через завалы переберешься, овраг перелезешь да вниз спустишься, родник есть, ключ по-нашему, и сколько я разной воды перепил, но такой никогда не пил, и вода там, надо думать, лечебная...

Леша тем временем все крепился, крепился, не выдержал, жалко скривил лицо, шмыгнул носом и затянул отчаянно:

— Семе-ен...

— Ну? — Семен с удивлением посмотрел на брата.

— Семен, возьми меня-я... — тянул Леша, и было видно, что страдает он невыносимо.

— Как? Взять? — с сомнением спросил меня Семен.

Большие мокрые глаза Леши тотчас уставились на меня. Я задумался. Я думал долго и мрачно.

— Взять? — снова с сомнением повторил Семен и критически осмотрел Лешу. Тот покривился и крепко сжал задрожавшие губы.

— Возьмем! — решил я наконец.

Леша тоненько засмеялся, вскочил и вытер длинным рукавом глаза.

— Ага! — торжествующе закричал он. — А вот и пойду, а вот и пойду!

И он, победоносно глядя на Семена, стал приплясывать возле костра, на разные лады повторяя: «Что? А вот и пойду! Что! А вот и пойду!»

Я оглянулся. Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью. Пала роса, и воздух посвежел. Деревья определились. Нет, света еще не было, но с каждой минутой все виднее становились отдельные кусты, ветки, елки, даже шишки. Ночь кончилась, наступал самый ранний полурассвет, то время утра, когда петухи в деревне, хрипло прокричав свое «ку-ка-ре-ку», еще крепче засыпают.

Мне пора было идти. Я взял ружье и попрощался с ребятами.

Едва я отошел от костра, как сырой холодный воздух охватил меня со всех сторон и сапоги заблестели от росы. Сорока неслышно сорвалась с вершины белесой ели, быстро и молча полетела, ныряя на лету, на восток, навстречу рассвету.

Я успел уже порядочно отойти — взобрался на гриву, отыскал тропу и зашагал к озеру, когда меня опять настигла песня Семена. И снова не разобрать было слов, не уловить мелодии, но я знал теперь, что песня эта прекрасна и поэтична, потому что рождена чистым талантом, красотой меркнущих звезд, великой тишиной и ароматом увядающего лета.

— Аааа... Ооoаа... — дрожал далекий человеческий голос, а внизу подо мной сонно журчала река, тихонько стукались друг о друга плывущие по воде бревна, и мне казалось почему-то, что на реке, скрываясь в полупрозрачных завитках тумана, тихо сидит в лодке мудрый человек и стукает обухом топора по плывущим мимо бревнам, стараясь по звуку угадать их крепость и чистоту.

1955



ДОМ ПОД КРУЧЕЙ

1

Блохин приехал в районный город вечером. Вылез из машины у здания райкома, оглянулся: шел редкий снег, фонари не горели, темная улица была перечерчена длинными желтоватыми полосами света из окон.

Спросив у прохожего о гостинице, Блохин по узкому переулку спустился вниз, долго ходил среди приземистых строений, похожих на баржи, наконец нашел гостиницу и постучал. Кто-то спустился по лестнице, но дверь не открыл. На вопрос Блохина о койке, подумав, ответил:

— Ничего нету.

— А где же переночевать? — сердито спросил Блохин, глядя на слабо блестевшую, старинную медную ручку. — Да вы откройте!

Ответа не последовало. Тот, за дверью, полез вверх, лестница под ним скрипела, и Блохин подумал со злобой, что это, должно быть, очень грузный человек.

Отойдя от гостиницы, Блохин смахнул снег с тумбы, присел, размышляя о своем положении. В этот

городок приехал он из Москвы, ездил же он вообще редко и поэтому в дороге почти не спал, а все волновался, радуясь тому, что поехал так далеко, и думая о том, как устроится и как будет жить на месте. От областного города нужно было ехать еще семьдесят верст на машине. Блохин полдня бродил возле вокзала, отыскивая попутную машину, наконец нашел и приехал на место. Теперь он устал, отчаялся и не знал, что делать и куда пойти. У него начали уже зябнуть ноги, когда он решился окликнуть проходившую мимо девушку. Та молча и задумчиво выслушала Блохина и повела его темными переулками с засыпанными снегом домиками по сторонам опять вверх.

Скоро они очутились в теплом и светлом Доме культуры. Было шумно. В коридоре возились ребята, подглядывали в двери. Наверху громко и фальшиво играл духовой оркестр. Девушка скрылась в одной из комнат, и спустя минуту в коридор вышел купец с красивой бородкой и большой цепью через грудь. Ребята сразу затихли, с восторгом уставились на купца.

— Вам комнату? — спросил купец молодым голосом и, морщась, стал отдирать бородку. — Вы чуть подождите, сейчас я вас провожу.

Отодрав бородку, он погрозил ребятам кулаком, ушел, а через пять минут вышел уже в пальто, оказавшись молодым румяным парнем.

— Пойдемте! — весело сказал парень и с облегчением вздохнул, а Блохин вдруг решил, что городок этот странный и веселый и что жить здесь, должно быть, просто.

Парень вел его мимо деревянных заборов и каменных оград, мимо чайной, возле которой на рассыпанном сене стояли заиндевевшие лошади, мимо белых домов с черными окнами, скрипел валенками по снегу и рассказывал:

— Дом внизу стоит, у самой реки, и комнатка ничего, жить можно и все такое, хозяйка только не хороша...

— А что? — спросил Блохин.

— Да так... Вы ведь, наверно, ненадолго? Это у меня там с ней дело одно вышло... А вам что! Деньги платите да не трогайте ее, и все...

— А комната отдельная?

— Отдельная. Вы что, к нам в командировку?

— На практику.

— На практику? Случайно не в Дом культуры?

— Нет, в библиотеку...

— А-а... Жалко. А то бы можно такие дела развернуть... Чемодан-то тяжелый? Давайте я понесу.

— Ничего, спасибо. В этом доме-то кроме хозяйки есть еще кто-нибудь?

— Дочка.

— Да? Интересно... И молодая?

— Дочка-то? — парень помолчал. — Молодая... Совсем молодая.

«Вон оно что! — подумал Блохин. — Молодая девушка. Наверное, пробовал ухаживать, да неудачно?» И ему стало очень любопытно и весело от мысли, что он идет в дом, где живет молодая девушка.

Спустились в овраг, прошли мимо редких черных деревьев, свернули налево и пошли под обрывом. Справа попадались баньки, дома с закрытыми ставнями, сквозь которые кое-где пробивался свет. За домами скорее угадывалось, чем виднелось близкое, большое и смутное пространство занесенной снегом реки.

— Это у нас улица Оползино, — объяснял парень. — Берега здесь оползают, а люди живут... Ставнями запираются. Как чуть стемнеет, так и запираются. Народ! У каждого свой колодец — кулугуры, черти! У стариков в сараях гробы да кресты стоят — это они после смерти опоганиться боятся, в своих хотят в могилу лечь и под своим крестом...

— Интересно! — изумился Блохин.

— Кому интересно, а кому... — буркнул парень. Он подвел Блохина к большому дому с высоким крыльцом. Одна половина дома была темной, на другой мягко сияли окна, освещая низкий забор со снежными шапками на столбах.

— Ну вот, глядите. А я пошел. Ежели что не так,

заходите в Дом культуры, поможем. И вообще заходите, спросите Колю Балаева, меня там все знают.

Он негромко засвистел и пропал в темноте, только свист долго был слышен. Приглядевшись, Блохин увидел метлу на крыльце, обил снег и постучал.

Дверь ему открыла девушка в халате с подвернутыми полами и засученными рукавами. Она тяжело дышала, руки у нее были запачканы, прядь волос прилипла к щеке. Увидев Блохина, девушка задержала дыхание, торопливо одернула халат, поправила плечом волосы, пропустила его на кухню и почему-то очень долго запирала дверь.

— Поговорите с мамой, — задрожавшим голосом перебила она Блохина, когда тот стал объясняться, покраснела и быстро ушла в комнату.

Вышла мать ее, худая женщина с тонкими поджатыми губами и убитым выражением лица. Было похоже, будто минуту назад с ней случилось несчастье.

— Комнату? Комнату сдаем... Посмотрите, — она открыла застекленную дверь и зажгла свет. — Комната у нас хорошая, замечательная... Чистая комната. Вы один или семейный?

— Один.

— Прошлый год профессор жил. Два инженера жили. Комната хорошая, теплая...

Комната была холодная, пустая, с крепким застоявшимся запахом. Блохин поморщился.

— Вы как же... надолго приехали? — настороженно спросила хозяйка.

— На месяц, — сухо ответил Блохин, чувствуя растущую неприязнь к хозяйке и думая о девушке, открывшей ему дверь.

— А комната у меня замечательная, тихая... Как на даче будете жить.

— Сколько же вы берете?

— Да вот профессор жил, так двести рублей платил. Да и то дома почти не бывал.

— Двести? — переспросил Блохин и нахмурился: это было дорого.

— Да еще с его дровами, — заторопилась хозяй-

ка. — Ведь вы топить не будете? Топить, значит, мне нужно. А дрова копеечку стоют. Времена нынче плохие.

Блохину делалось все более неприятно. Но после дороги так хотелось согреться, обрести хоть какое-нибудь место, да и выбирать было не из чего, и Блохин согласился. «Что мне в конце концов до хозяйки! — подумалось ему. — Она сама по себе, я сам по себе... Да и не век мне здесь жить!»

— Ну хорошо! — сказал он. За стеной тотчас что-то свалилось.

— Вы, может, погуляете, пока я комнату приготовлю? — спросила хозяйка, прислушиваясь к тому, что делалось за стеной.

Блохин с легким сердцем вышел на улицу, закурил. Идти ему никуда не хотелось, он спустился вниз, встал на берегу реки и задумался.

Было Блохину двадцать шесть лет. Он кончал институт и все чаще подумывал о женитьбе, но без любви женитьбы себе не представлял, а полюбить все как-то не приходилось, и это в последнее время всерьез беспокоило и даже угнетало его. Ему, как и многим вообще, почему-то казалось, что в своем городе, в своем институте, одним словом дома, ничего необыкновенного произойти не может. Дома было все привычным и обыденным. А необыкновенное было где-то далеко, поэтому он любил дальние поездки и каждый раз, собираясь в дорогу, был почти уверен, что с ним произойдет что-то радостное, кто-нибудь полюбит его... Он ездил, и с ним не случалось ничего, но вера его в счастливый случай не пропадала.

Сейчас, глядя на снежный простор широкой реки, похожей на поле, он задумался о девушке, которая так смутилась, открыв ему дверь. И чем больше думал он о ней, тем больше волновался. Может быть, это вот и есть тот долгожданный случай, то необыкновенное счастье, о котором он мечтал? Кто она? Как жила и как будет жить? Он старался вспомнить, какие у нее губы и глаза, какое лицо, но вспомнить ничего не мог, только чувствовал, что она хороша и что ее смущение может многое означать...

— Хорошо! — громко сказал Блохин и оглянулся. Дом сиял мягким светом окон... После Москвы здесь казалось необыкновенно тихо и таинственно. У Блохина стало весело и горячо на душе. Он докурил папиросу, щелчком подбросил ее вверх. Папироса упала в снег, но не погасла, и то место, куда она упала, долго светилось в темноте нежно-розовым пятном.

«Пожалуй, пора!» — подумал Блохин и пошел назад к дому, улыбаясь в темноте и с удовольствием прислушиваясь к скрипу снега под ногами.

2

Пол в комнате был уже вымыт, у стены стояла узкая железная кровать с серой сальной подушкой. Вошла хозяйка. Она тревожно поглядывала на Блохина, часто поворачивала бледное лицо к стене, и тогда казалось, что она видит все, что делается за стеной.

— Вам и белье давать? — спросила она.

— Конечно, — сердито ответил Блохин, поднимая брови и стараясь, чтобы хозяйка заметила его недовольное удивление; неприязнь его к ней росла с каждой минутой.

Белье было постелено, на столе появилась скатерть, Блохин успокоился, раскрыл чемодан, разложил вещи, вынул книгу и стал читать. Но ему внезапно стало скучно, не читалось, хотелось крепкого горячего чаю из тонкого стакана, хотелось с кем-нибудь поговорить.

Он отложил книгу, облокотился, стал смотреть в темное мокрое окно, слушая, как в печке потрескивают дрова, думая о том, что только вчера он ходил в Москве по Арбату, а теперь сидит в чужом доме, у незнакомых людей, которые равнодушны к нему, к его прошлому, его занятиям и которые, быть может, никогда не вспомнят о нем, когда он отсюда уедет.

От этих мыслей Блохину стало тяжело, грустно. Он подумал было лечь спать, но спать не хотелось. То-

гда он встал, походил по комнате, потрогал печку, прислушался и вышел на кухню.

Девушка переоделась в темное платье, сидела за столом и вышивала. Увидев Блохина, она вспыхнула, шевельнулась, будто хотела встать и уйти, но не ушла, только еще ниже опустила голову. Блохин огляделся, присел к столу и спросил, понизив голос:

— А где ваша мама?

— Она поросенка кормит.

Голос ее был тих и нежен, ответила она помедлив, словно не сразу поняла вопрос. Золотистые волосы ее слегка вились возле висков, завитки их спускались на лоб, и всю эту слабо сиявшую глянцевитую массу волос прорезал чистый и ровный пробор.

«Сколько ей лет? — размышлял Блохин. — Восемнадцать? Девятнадцать?» Он смотрел на завитки волос, на пробор, на тонкую шею, жалел, что ему не двадцать лет, что он не красив, и ощущал в груди томительную печаль. Ему хотелось сидеть и без конца смотреть на нее. «Еще влюбишься здесь!» — подумал он вдруг невесело.

— Вы что же, работаете, учитесь? — снова спросил он.

Девушка подняла голову. Блохин увидел мелкие бледные веснушки на носу и лбу, очень маленький алый рот и чистые прозрачные глаза, и в глазах этих был свой, далекий ему мир, своя жизнь, незнакомая ему и недоступная сейчас для него.

— Работаю, — нежно и доверчиво сказала она. — Учетчицей. На том берегу... Поступала в институт, не приняли. Готовилась как сумасшедшая, и вот все зря...

— Скучаете теперь?

— Днем на работе хорошо. Вечером очень скучно. Все одна, одна... Я на улицу редко хожу, в кино только иногда. Мама не любит одна оставаться. Вышиваю вот... А хорошо, что вы у нас комнату сняли, я не люблю пустых комнат! Я боялась, вам не понравится здесь. Глухо... Что у нас может понравиться? — Она неприязненно оглядела кухню потемневшими глазами.

«Вы, вы мне понравились!» — захотелось сказать Блохину. Но он ничего не сказал.

— Вы были в Москве? — спросил он немного погодя.

Девушка, не поднимая глаз, покачала головой. Блохин заговорил о Москве. Он говорил о театрах, институтах, о стадионах, и в тоне его невольно все сильнее звучала хвастливая нотка. А девушка слушала, как слушают сказку: на щеках ее выступил слабый румянец, глаза блестели. Она отложила вышиванье, облокотилась на стол, не моргая смотрела Блохину в лицо. Его смущал и беспокоил этот пристальный взгляд, но недавняя удрученность его и скука бесследно исчезли, он был теперь почти счастлив.

Темный, занесенный снегом город со старинными пузатыми купеческими домами, чайная, лошади, сани, запах сена, навоза и снега, Дом культуры с нестройными звуками оркестра и людьми в париках, дорожные разговоры и мечты, пустынная широкая река, наконец этот дом с недоброй хозяйкой и нежной, доверчивой дочерью — все это теперь казалось ему значительным, интересным и странным.

— Какой вы счастливый! — с откровенной завистью сказала девушка. — А я родилась в этой глуши, ходила в школу, а теперь мне кажется, что я никогда ничего не знала и не жила совсем.

Она вдруг улыбнулась насмешливо и жалобно.

— Вы не знаете, как я мучилась летом... Когда автобиографию писала. Какая у меня автобиография? Три строчки... Родилась, училась, огород копала, стирала, летом по ягоды ходила — и все? Ничего в моей жизни нет. Смотрю кино или радио слушаю: там сделали что-то, кто-то подвиг совершил, кто-то на целину уехал, спортом занимаются, учатся, вечером огни горят, интересная жизнь, а у меня ничего. Вам кто сказал о нашем доме?

— Да тут один паренек привел меня. Из Дома культуры...

— А, знаю! Коля Балаев, да? Он вам ничего не говорил?

— Нет, ничего, — сказал Блохин и почувствовал вдруг, как что-то кольнуло его в сердце. — Ничего не говорил. А что?

— Он жил у нас. Это такой человек! Знаете, я стала заниматься в театральном кружке, ходили вместе, говорили, мечтали... А мама, — девушка вдруг покраснела, — мама выгнала его. Прямо взяла и выгнала. И на меня... Теперь мы уж не встречаемся.

— Вы любили его, да? — с усилием спросил Блохин.

— Нет... — ответила девушка, подумав. — Нет. Я не знаю еще, как чувствуешь любовь, но это... у нас не было этого.

— Вам наш город понравился? — спросила она спустя минуту.

— Странный какой-то. Дома купеческие, лошади, снег, темно... У нас в Москве нет этого.

— В Москве! — девушка вздохнула; глаза ее снова потемнели. — Наш город старый, восемьсот лет ему, и жизнь какая-то старая. Только и гордимся тем, что у нас какой-то великий князь умер. Велика гордость! И кино есть, и школы, и техникум, летом все на велосипедах катаются, а жизнь все равно глухая. Тут что ни дом, то купцы. Только капиталы у них отобрали, а так... все бородатые, вечерами сидят в чайной, чай пьют. На нашей улице все староверы живут, и мама у меня староверка, людей не любит... Здесь близко в одном доме молельня есть, собираются, молятся, бормочут. И я бывала, только я не верю ничему. Назло не верю! В комсомол мама не позволила вступить. Сижу вот, вышиваю... А зачем это нужно, кому? Не знаю. Зачем я живу?

У нее показались на глазах слезы, она быстро отвернулась к стене. За окном послышался вдруг мерный и частый звук, который постепенно приближался. Было похоже на громкое тиканье будильника.

— Что это? — спросил Блохин.

— Это? — Девушка прерывисто вздохнула и посмотрела в темное окно. — Сторож... В колотушку стучит.

— В колотушку? — переспросил Блохин, с изум-

лением прислушиваясь: до сих пор он никогда не слышал колотушки.— Зачем же в колотушку?

— Не знаю,— неохотно отозвалась девушка.— Стучит... Стучит, а мне иногда кажется, будто это в голове у меня стучит.

«Так-ток-так-ток-так-ток»,— раздавался унылый, теперь удаляющийся звук, а Блохин с удивлением, даже с некоторым страхом смотрел на сидящую перед ним девушку и думал, как тоскливо действительно жить в таком доме.

— Но как же это...— громко начал он.— Так же нельзя! Это же черт знает что за жизнь! Почему вы... Я понимаю, конечно, ваша мама... Но мама ваша — пожилой человек! Ее-то жизнь прошла, и у нее потом была совершенно другая жизнь, она родилась до революции, она привыкла так жить... Но вы! Поговорите же с ней, объясните ей! Ну, хотите, я с ней поговорю?

— Не надо,— умоляюще сказала девушка.— Прошу вас, не надо! Это ни к чему не приведет. Вы думаете, я не говорила ей? Сколько раз! Но я одна здесь, поддержать меня некому, и вот привыкла. Да и не я одна такая — сколько у нас таких, если бы вы знали! Привыкаем... Ведь мы — невесты, нас нужно беречь, чтобы как можно выгодней потом выдать замуж. А уж как тяжело другой раз, если бы вы знали! Вам мама говорила, что у нас профессора жили — я слышала. Врет она! Никто у нас не жил. Поживут неделю и уйдут, поживут и уйдут. А я сколько уж лет живу. Иногда разозлюсь, так бы вот и разбила этот проклятый дом с овцами да с поросятами!

— Так уходите отсюда, уходите! — взволнованно сказал Блохин.

— Уйти... Вы думаете, я не хотела? Да что толку... Куда пойдешь? Кому я нужна? Ни знаний, ни специальности, ни родных, никого в целом свете нет...

В коридоре послышались шаги, девушка сразу замолчала, прикусила губу. Пришла хозяйка. Она поставила ведро у двери, хмуро глянула на Блохина, на дочь, разделась и прошла к себе.

— Чай будете пить? — спросила она через минуту из комнаты.

— Нет, спасибо... — с усилием ответил Блохин. У него как-то странно сжималось сердце, от разговора в груди остался какой-то горький осадок, было почему-то неприятно и стыдно. Девушка не смотрела больше на него, торопливо продергивала нитки в вышивке, маленькие ее руки, загрубевшие от работы на холоде, дрожали. Блохин не мог видеть больше этих дрожащих рук, встал и пошел в свою комнату.

—Постойте! — испуганно сказала девушка.

Блохин обернулся. Прижимая к груди руки, девушка выбралась из-за стола, подошла к нему. Скулы и уши ее жарко горели, по глазам было видно, что ей тоже стыдно чего-то.

— Почему вы уходите? — тихо спросила она, глядя на Блохина так, что он начал пугаться. — Я вам рассказала про себя, потому что...

— Таня! — крикнула вдруг из своей комнаты хозяйка.

— Потому что я давно ни с кем...

— Таня! Иди сюда! Ты что там шепчешься, бесстыдница!

— Сейчас! — злобно и страдальчески откликнулась девушка и топнула ногой.

— Что? Ты слышишь, что я сказала? — послышались решительные шаги хозяйки. Девушка с мучительным стыдом посмотрела на Блохина.

— Мы с вами поговорим еще, хорошо? — шепнула она быстро, обдав его теплым детским дыханием, и ушла.

Блохин вошел в свою комнату, бесшумно прикрыл за собой дверь, прислушался, затаив дыхание. «Вот черт! — подумал он, переводя дух. — Ну и жизнь! Что же это такое! Не верится даже, будто во сне!» Он постарался развлечься, думая о том, что завтра нужно будет приниматься за работу, и вообще о делах, но голова его горела, перед ним все стояло лицо девушки. «Ее Таней звать, — с состраданием думал он. — А мы так и не познакомились...»

Немного погодя, осторожно постучавшись, вошла

хозяйка. Она потрогала печку, поправила скатерть на столе, потом присела, стала жаловаться на жизнь, на вдовство, на то, что в магазинах почти не бывает сахару. Слова были мелкие, нудные, голос неприятный. Блохин страдал, хмурился и молчал. Потом она стала спрашивать Блохина о семье, о занятиях...

— Так вы в Москве, значит, живете?

— В Москве.

— Квартира большая у вас?

— Маленькая. Одна комната.

— Так... Одна, значит. Тоже не сладко живете. Женатые?

— Нет еще.

— Зарабатывать-то много собираетесь?

— Не знаю.

— Как же это? Как же не знаете?

— Ну... рублей восемьсот—девятьсот.

— Восемьсот. Так... — В глазах хозяйки мелькнуло что-то, на лице показалось едва уловимое презрение, она моргнула, прекратила расспросы и неслышно ушла.

Блохин быстро разделся, потушил свет и лег. Ему не спалось, он ворочался на жесткой холодной кровати, вставал, садился у темного окна, курил.

За стеной слышался шепот, всхлипывания... Поскрипывали половицы, что-то стукалось об пол, кто-то выходил на кухню, звякал кружкой, пил воду. А на улице через равные промежутки возникал унылый звук колотушки, приближался и опять слабел.

Когда Блохин заснул, ему приснилось, что вокруг дома ходит кто-то страшный, постукивает палочкой по стенам и пытается залезть внутрь. Но на дверях и окнах — всюду огромные запоры, и проникнуть в дом невозможно.

3

На следующий день Блохин проснулся с головной болью. Комната за ночь выстыла, одеяло было тонкое, не грело, и у Блохина замерзли ноги. Матрац тоже был тонкий, сквозь него чувствовались доски,

бока у Блохина болели. На окнах намерзла наледь. В доме было тихо.

Одевшись, Блохин вышел на кухню. Тошнотворно пахло вареной картофельной шелухой. Воды в умывальнике не было, самовар стоял холодный. Блохин пошел в коридор, потрогал одну дверь: заперто. Он подергал другую — тоже было заперто. Третья дверь открылась, Блохин заглянул в сарай и увидел хозяйку. Она почесывала за ушами поросенка, на лице ее тлела слабая улыбка. Поросенок по самые уши залез в ведро, двигал его, чавкал, вертел хвостиком.

Увидев Блохина, хозяйка нахмурилась, прошла за ним на кухню. Она была в грубых грязных сапогах, в телогрейке и темном старушечьем платке. От одежды и рук ее пахло навозом.

— А я воду-то не нанималась вам носить, — сказала она. — И потом подумала я тут, рассчитала... Надо с вас двести пятьдесят брать за комнату.

— Это почему же? — удивился Блохин.

— То есть как же почему? Белье постельное нужно стирать, воду носить вам, потом отапливать... Как же почему? Потом свет вы жгете, лампа большая, сто свечей, сколько мне это платить? У меня не кузница, денег я не кую. Потом я бы попросила вас на улицу выходить курить, вы курите много, голова у меня разбаливается.

— Чаю вы мне разогреете? — спросил Блохин и покраснел.

— С чего же это я угли жечь буду? Они-то небось деньги стоют. Вставать надо раньше, а то спите развалясь, а вам десять раз самовар грей. А я вдова, мне взять неоткуда, мне никто не поможет. Я уж жалею, что и комнату вам сдала, — уж больно вы жилец беспокойный, бог с вами...

Блохин молча повернулся, пошел к себе в комнату, стал укладывать вещи в чемодан. Тихо вошла хозяйка, долго смотрела на него, потом спросила:

— Что же, съезжаете с квартиры, значит?

Блохин молчал, только крепче сжимал зубы.

— Да ведь я вас и не держу. Вы мне не сгрозите, я на свою площадь жильцов всегда найду, деньги

только заплатите за ночлег, скатертью дорожка. У меня профессор жил, благодарен остался да еще сверх платы прибавил... Инженера тоже жили, покультурней иных-прочих.

— Ну вот что. — Блохин закрыл чемодан, надел пальто. — Вот что: разговаривать с вами я не хочу. Ночевал я у вас одну ночь. Сколько с меня? Рублей семь, наверно? Или восемь?

— Это почему же семь? — побледнела хозяйка. — Почему же семь? На квартиру стали-то вы вчера? Значит, за два дня. Да еще из-за вас мне простыни стирать надо... Семь рублей? Да наволочку... Двадцать пять рублей с вас!

Блохин вынул десять рублей.

— Берите, — сказал он, усмехаясь.

— Это что же? — Хозяйка поджала рот. — Да подавитесь вы моей добротой, не надо мне ваших денег, оставьте себе, разживетесь от меня, от вдовы...

— Как хотите, — сказал Блохин, засовывая деньги в бумажник и искоса поглядывая на хозяйку.

Мгновенно вытянулась сухая темная рука с грязными ногтями, схватила деньги, сжала их в кулаке.

— А вы и рады? Эх, а еще образованный! Что это вы вчера дочери моей говорили? Дурочку нашли? С матерью разлучить хотите?

— Дочь? — закричал вдруг Блохин. — Не дочь она вам!

— Культурного из себя представляет, институт кончает! — не слушая его, кричала хозяйка, все больше бледнея. — Не стыдно вам, глаза ваши не лопнут на свет белый глядеть! В чужом дому свои порядки заводите? Свой заимейте раньше! Голь беспартошная, прости, царица небесная! Опоганил ты мой дом, нехристь проклятый, иди отседа, иди, иди-и!..

Блохин быстро вышел в коридор и на крыльцо. Снег на крыльце гулко заскрипел под ногами, запахло морозом и свежестью, в глаза ударил необыкновенный свет солнечного февральского дня, а на душе стало гадко и тяжело, будто поймали его на чем-то нехорошем.

Дома на улице, крошечные; утонувшие в снегу баньки казались от солнца веселыми, блестели стеклами, бросали на дорогу резкие голубые тени. На блестящей, накатанной санями дороге видны были янтарные навозные пятна и ходили вороны, а выше, на крутом обрыве со снежными наплывами, каким-то чудом держались редкие ели с сизыми стволами...

Но Блохин не видел ничего этого, вся красота яркого зимнего дня была не для него. Задыхаясь, он карабкался вверх по крутой обледенелой тропе, падал, оставляя после себя вмятины на снегу от чемодана.

Сверху Блохин посмотрел вниз, на дом, в котором провел ночь, на широкую ослепительно-белую реку. «Где же теперь увидеть Таню? Как ее встретить? Расскажу Балаеву, — решил он наконец, — тот поможет. Надо же что-то делать!» Сердце его бурно билось от стыда, от ярости, от любви к нежной, робкой девушке. Внезапно он вспомнил о том, зачем приехал в этот город, о практике, — злость и горечь охватили его. «Что практика! — с раздражением подумал он. — Сидеть в библиотеке, составлять каталоги, рекомендательные списки, вести учет читателей... А тут рядом человек пропадает, рядом целая улица староверов! И они тоже, наверно, читатели! Практика! Вот где практика нужна, в этих домах!»

Он еще раз с ненавистью посмотрел вниз, отвернулся и пошел к гостинице. Больше он не оборачивался, но если бы и оглянулся, то не увидел бы ничего: дом скрылся под кручей.

1955



СТРАННИК

1

Шел по обочине шоссе, глядя вдаль, туда, где над грядой пологих холмов стояли комковатые летние облака. Навстречу ему туго бил ветер, раздувал мягкую выгоревшую на солнце бородку. На глаза часто набегали слезы, он вытирал их грязным, загрубевшим пальцем, опять, не моргая, смотрел вперед, в слепящее марево. Его обгоняли автомашины, бешено жужжа шинами по асфальту, но он не просил подвезти, упрямо чернел на сером, блестящем посередине от масла шоссе.

Был он молод, высок, немного сутуловат, шагал широко и твердо. Резиновые сапоги, зимняя драная шапка, котомка за плечами, теплое вытертое пальто — все это сидело на нем ловко, не тяготило и не мешало.

Думал ли он о чем-нибудь, шагая мимо деревень, лесов, мимо рек, зеленых полей и бурых паров? Синие его глаза в красных веках не смотрели ни на что внимательно, ни на чем подолгу не останавливались, блуждали по далям, по белым облакам, заволакива-

лись слезами, потом опять бездумно глядели. Звонко стукала по асфальту ореховая, позелененная травой палка. Подкрадывались к шоссе кусты, задумчиво подходили большие старые березы и вновь неслышно уходили, не в силах скрыть великого простора полей.

Солнце перевалило за полдень, стало жарче и суше, ветер доносил запах теплого сена, разогретого асфальта, а странник все так же ходко шагал, постукивал палкой, и неизвестно было, куда он идет и сколько еще будет идти.

Наконец он заметил очень далеко справа белую черточку — колокольню. А заметив, скоро свернул на пыльный проселок и пошел уже медленней. Дойдя до чистой глубокой речки, он сел в тени кустов, снял котомку, вынул яйца, хлеб и стал есть. Жевал он медленно, тщательно оглядывая кусок, прежде чем положить в рот. Наевшись, перекрестился, смахнул с бороды и усов крошки, тяжело поднялся, пошел к речке напиться. Напившись и вымыв лицо, он вернулся, забрался еще глубже в кусты, положил котомку под голову, поднял воротник, надвинул на лицо шапку и мгновенно уснул крепким сном сильно уставшего человека.

2

Спал он долго и проснулся, когда солнце село уже за холмы. Протер нагноившиеся глаза и долго зевал, чесался, оглядываясь и не понимая, где он и зачем сюда попал. Опухшее от сна лицо его не выражало ничего, кроме скуки и лени.

По дороге в сторону шоссе проехала машина с бидонами молока. Странник посмотрел вслед машине, лицо его оживилось, он быстро надел котомку, вышел на дорогу, перешел мосток над речкой и пошел к деревне, замеченной им еще днем.

Справа начались сочнозеленые темнеющие овсы, потом потянулся двойной рядок елок. Солнце скрылось, оставив после себя узкую кровавую полосу заката. Эта полоса светилась сквозь черный ельник, и смотреть на это свечение и одновременно черноту

было жутко. Странник заспешил, поднимая сапогами пыль. Он боялся темноты и не любил ночи.

А запахи пошли теперь другие. Пахло похолодевшей травой, пылью на дороге, томительно благоухали донник и медовый тысячелистник, от елок шел крепкий смолистый дух. Небо было чисто и глубоко, потемнело, будто задумалось, и ясно был виден слева молочно-белый молодой месяц.

Дорога стала петлять лесом, оврагами. Странник шел все торопливее, шевелил ноздрями, втягивал воздух по-звериному, часто оглядывался. Раза два он попробовал затянуть песню, но скоро смолкал, подавленный сумеречной тишиной.

Наконец запахло жильем, попалась поскотина, он пошел спокойнее, зорко глядя вперед. Скоро разбежались, остались сзади кусты и деревья, и он увидел большую деревню с речкой внизу и церковью на горке. Весь низ у реки был занят скотными дворами, и там, несмотря на подкравшуюся темноту, чувствовалась еще жизнь, как чувствуется она вечером в улье с пчелами.

Уже дойдя почти до гумна, странник заметил вдруг идущую снизу, от скотных дворов к деревне женщину и остановился, поджидая. Когда женщина подошла, странник сдернул с головы шапку, поклонился низким поклоном и, кланяясь, пытливо поглядел ей в лицо.

— Здравствуй, мать! Храни тебя господь, — сказал он глухо и важно.

— И вы здравствуйте, — помедлив, отозвалась она, поправила платок, облизала сухие губы.

— Здешняя?

— Я-то? Здешняя... А вы чей будете?

— Дальний я. Хожу по святым местам. Странник, значит.

Женщина с любопытством оглядела его, хотела спросить что-то, но застеснялась, тихо тронулась дальше. Странник пошел рядом с ней, сохраняя на лице твердость и важность.

— Церковь работает? — спросил он, вглядываясь в золотисто-розовый крест колокольни.

— Церква-то? Где ж работать! Не служат... МТС в ней теперича. Батюшка был, да дюже старый, помер годов уж двадцать.

— В безверии, значит?

Женщина смутилась, снова поправила платок, вздохнула, опустив глаза. Странник искоса глянул на нее. Была она не стара еще, но с темным, заветренным лицом и такими же темными руками. Сквозь выгоревшую старую кофту проступали худые плечи, и почти не выделялись плоские груди.

— Где уж! — сокрушенно сказала она. — Молодежь-то нонче, знаешь какая, не верит. Ну, а у нас тоже работа круглый год да свое хозяйство, ни до чего. Батюшка когда наезжает, молебен на кладбище отслужим, вот и вся наша вера...

— Так... — протянул печально странник. — Эх, люди, люди! Сердце мое болит, глаза бы не глядели на житье ваше! Сами себе яму роете...

Женщина грустно молчала. Улица была темна, только в пруду стекленела вода, плавали вдоль осоки две припозднившиеся утки, жадно глотали ряску, торопясь наесться на ночь.

— Есть тут хоть кто верующий, божьему человеку приют дать? — с тоской спросил странник.

— Это переночевать, значит? Да что ж, хоть у меня ночуйте, места не пролежите.

Больше до самого дома ни странник, ни женщина не сказали ни слова. Только отпирая дверь, она спросила:

— Звать-то вас как?

— Иоанн! — по-прежнему важно и твердо сказал странник.

Женщина вздохнула, думая, быть может, о грехах своих, открыла дверь, и они вошли в темные пахучие сени, а оттуда — в избу.

— Раздевайтесь, отдохните... — сказала хозяйка и вышла.

Иоанн снял котомку, пальто, стал разуваться. Долго с печальным лицом нюхал портянки, чесал большие набрякшие ступни, осматривался.

Когда снова вошла хозяйка, Иоанн сидел уже в

одной рубашке, копался в котомке. Он вынул оттуда евангелие, толстую тетрадь с надписью «Поминальница святого Иоанна» и большим крестом на обложке, пошарив, нашел огрызок карандаша, раскрыл тетрадь, подумав, спросил строго:

— Была в сем доме смерть?

Хозяйка вздрогнула, повернулась, пристально посмотрела на странного бородатого человека.

— Была, — негромко сказала она. — По весне сынок у меня помер. Шофером он работал в колхозе, через реку стал переезжать...

— Имя! — сурово остановил ее странник.

— Чего? — не поняла она.

— Имя, имя! Сына имя, — раздраженно прикрикнул он на нее.

— Сыночка-то? Федей звали... Говорили ему, погоди, не ездий, не погниют твои товары — части какие-то для МТС вез — стороной объехай, через мост, лед ведь сейчас тронется... Не послушал, горячий был... Утоп... Сыночек-то — утоп...

— Буду молиться! — перебил ее Иоанн, выписывая в тетради крупно: «Феодор». — Тебя как звать?

— Настасья...

— Так... Нас-тасья. Одна живешь?

— Вдвоем. С дочкой. Не дочка она мне, женка Федина, да я уж с ней...

— Муж был?

— Был, как не быть... На фронте погиб, в сорок втором...

— Имя?

— Михаилом звали...

— Так... — Иоанн помолчал. — Невестку как звать?

— Люба... Любовь, значит.

— Знаю, — сказал странник, записывая. — Хорошая?

— Это как же? — не поняла Настасья.

— Поведения хорошего? В бога верует?

— Нет... В бога не верует, комсомолка, а так не согрешу — хорошая. Зоотехникум кончила, работает,

значит, на ферме, да еще завклубом ее поставили. Клуб у нас, так она в нем еще вечерами. Устает — день там, вечер там, да я и не перечу, конечно, скука одной-то, молодая, годочек только и пожили... Сынок-то, Феденька... Из армии пришел, мамуня, говорит... Мамуня...

Настасья сморщилась, сухие губы ее затряслись, по темным худым щекам покатились слезы. Странник сурово молчал.

— Садитесь, повечеряйте... — сквозь слезы сказала Настасья. — Самовар сейчас вздую...

— Иконы есть?

— Есть... Жены-мироносицы, троеручица божья матерь...

— Где? Проводи.

— Вон на той половине, пойдемте...

Она отворила дверь в чистую горницу. Иоанн со скучным лицом, тяжело ступая по половикам, пошел за ней, захватив «Поминальницу».

— Выйди, — сказал он, увидев иконы. — Молиться буду.

Со стуком опустился на колени, задрал бородку. Настасья тихонько вышла.

— Господи! — глубоким голосом воскликнул Иоанн. — Господи!

И замолк, засмотрелся в окно на неподвижные яблони. Настасья собирала на стол, звякала посудой. Эти тихие звуки, эти долгие летние сумерки были странно приятны ему, сладко трогали сердце. Сколько деревень он повидал, где только не ночевал! Все было разное везде: люди, обычаи, говор... И только сумерки, запахи жилья, хлеба, звуки везде были одинаковые.

Смотрел Иоанн в окно, вытягивал шею: внизу, за огородами, — река, за рекой — поля, лес... Из лесу выполз уже туман, покрыл луга молочными прядями, скатывался потихоньку вниз, к реке.

— Господи! — вздыхал Иоанн и снова слушал тихое звяканье посуды, смотрел в окно, в дали.

Настасья осторожно заглянула в горницу, увидела лохматую, давно не стриженную голову, темную шею,

широкие твердые лопатки, большие ступни подвернутых ног.

— Кушать пожалуйте, — тихо позвала она.

Но странник не шевельнулся, не ответил, думал о чем-то, упираясь длинными руками в пол. Настасья ушла, поставила на крыльце самовар, стала доить корову.

А странник услыхал через минуту в сенях легкие шаги, подумал торопливо: «Девка!», настороженно повернул голову. Стукнула дверь, на пороге горницы шаги замерли. Иоанн задрал бородку, широко перекрестился, глядя в темные лики икон: знал, что пришедшая изумленно смотрит на него.

Молчание. Потом шаги быстро застучали обратно в сени. Иоанн вскочил, беззвучно подошел к двери, приложился бурым ухом.

— Мама!

— Чего ты? — Равномерное цвирканье молока по ведру прекратилось.

— Мама, что это за человек у нас?

— Так... Проходящий какой-то. Странник, веру ищет, ночевать попросился.

— Странник? Старый?

— С бородой, а так не дюже... Глаза у него молодые.

— Проходимец, может, какой-нибудь?

— Что ты, Христос с тобой! Человек божественный, молящий...

Молчание. Только слабо похрюкивает поросенок. Опять послышались равномерно-быстрые тугие звуки молока по ведру.

— Поросенка кормили?

— Не, не поспела еще. Там я намешала ему, за печью...

— Я покормлю.

Иоанн тенью метнулся от дверей в горницу, припал на колени, задрал бородку. «Стерва! — злобно думал он. — Выгонит еще, поночевать не даст!»

А в избе слышались тихие хозяйственные звуки, тьма скоплялась по углам, уже ничего нельзя было разобрать — ни ликов икон, ни фотокарточек, ни по-

четных грамот, — все пропадало в темноте, все становилось волнующе-таинственным, вошли в избу лесные тени. Когда стало совсем темно, а месяц над лесом побелел и стал осторожно заглядывать в окна, внесли горящую яркую лампу, зашумел самовар на столе, странник вышел из горницы, сунул в котомку евангелие с «Поминальницей», сел на лавку, щурясь, стал следить за Любой.

3

Сели ужинать. Ел странник жадно и много, громко глотая, шевеля бородой и ушами.

— Кушайте, кушайте... — говорила Настасья, подвигая к нему еду.

А он, поднимая воспаленные синие глаза от тарелки, каждый раз взглядывал на Любу, и та, чувствуя его взгляд, розовея скулами, нервничала, подрагивала бровью. Была она красива неяркой смуглой красотой, осталось в ней что-то от девушки — угловатость движений, неуловимая бегучесть глаз, робкая грудь...

Поглядывал на нее странник, нравилась она чем-то ему, и начинал он уже думать, что хорошо бы обрить бороду, жениться на такой девке, работать по хозяйству, спать с ней на сеновале, целовать ее до третьих петухов... От таких мыслей взбухало сердце, звенело в голове.

— Кушайте, не стесняйтесь... — просила его Настасья. — Вот грибочков попробуйте, нонче рано грибочки пошли.

Наевшись, Иоанн перекрестился, привычно поклонился хозяйке и Любе, отодвинулся от стола, хотел рыгнуть, но застеснялся, стерпел, стал свертывать папиросу, рассыпая на колени табак и подбирая его.

— Курю вот, — сожалеюще сказал он. — Курю... Бес искушает, сколько разов уже каялся, эпитимью накладывал — не могу...

Люба вдруг засмеялась; отворачиваясь, отошла к

печке. Настасья засуетилась, приподнялась, умоляюще глядя на странника.

— Чего ты, ну чего ты! Сбесилась ай нет?

Люба молчала; прикрывая глаза ресницами, сдерживала смех.

— Да,— повышая голос, сказал странник. — Умны многие стали, не верят, а бес-то тут как тут... Мельтешат всё, жизнь суетливая стала, мыслей настоящих нету, машина все... Съела человека машина! В апокалипсисе об этом прямо сказано.

Люба, усмехаясь, уже открыто смотрела на него.

— Что смотришь? — спросил грубо Иоанн, ощущая в груди веселую злость к ней. — Или не нравлюсь? Не видала таких-то? Может, жалеешь, что за стол сел?

— Чтой-то вы, бог с вами! — испугалась Настасья.

— Стола мне не жалко, избы тоже... — звонко сказала Люба. — Мамино это дело. А если уж прямо говорить... Смешно, конечно. Что вы ходите? Не стыдно вам? Бороду вот отрастили... Думаете, от бороды святости прибавится? Честное слово, прямо как в самодеятельности у нас!

— А ты не пошла бы?

— Я? Нет, я работу люблю.

— Работу... — Странник засопел, стал смотреть в угол. — Глупая ты девка. В чем ваша работа? В бога не верите, а он есть и пребудет вовек! Работа... Эх, вы-ы! Я вот хожу, смотрю...

— Смотреть легко, — небрежно вставила Люба.

— Я вот хожу, смотрю, — продолжал странник громче. — Что вы делаете? Как живете? Лучше ль стало на земле жить? Хуже! Истинно тебе говорю — хуже! Воров стало больше, разврату больше. Евангелие святое читаю... Вот она, книга-то! — Он похлопал рукой по котомке. — Этого в техникумах да в институтах ваших нету... Нету!

— И не надо...— зевая сказала вдруг Люба.— Без этого обходимся. Что-то устала я, пойду лягу... Спасибо, мама.

Она отошла от печки, взяла что-то в комоде, про-

шла мимо, обдав странника запахом здорового, чистого женского тела, вышла в сени, стукнув дверью.

— Гордая девка, — перехваченным голосом сказал странник и усмехнулся. — Хара-актер!

— Что ж, молодые они, — примирительно отозвалась Настасья, убирая со стола. — Понятия другие. Смелые они теперь... Вы не обижайтесь. Жизнь-то у нее не легкая. Молодая, красивая, а... вдова.

— Н-да-а, — обронил задумчиво странник. — Господь, значит, рассудил так. Я вот тоже не думал странником стать. Конечно, интерес к жизни у меня, с другой стороны, был. Псковской я сам, из деревни Подсосонье, не слыхала? Родителей моих в войну побило, царство им небесное, остался я один, как быть? Туда-сюда мыкался, работал, поля разминировал, взорвалась одна мина, ранила меня в живот, под самый дых, еле жив остался, инвалидом стал... Ну, а что инвалиду? Работенку, может, какую легкую? Да образования нету, долго учиться, ежели на инженера там или агронома. Плохо мне стало в колхозе, скучно, душа у меня ненасытимая, — и потянуло меня в дальние дали. Стал я к богу припадать, раньше-то тоже не верил... Старичок у нас в колхозе был — молоковозом работал, — боже-ественный старичок. Он меня всему наставил, стал по книгам читать, — так на так все выходит. «Иди, сын мой, — это он, значит, мне говорит. — Иди, говорит, во святые места, молись, спасай нас всех от гибели и сам спасайся». Я и пошел, да вот уж пятый год хожу. Мно-ого народу ходит, люди всё чистые, святые. Легко мне теперь, стою к богу близко и с дороги своей уж теперь не сойду. Нет, не сойду!

— А теперь далеко ли идете? — сонным голосом спросила Настасья.

— Да вот завтра хочу до Борисова дойти, к животворящему кресту приложиться. Много я наслышан про него. А где я только не был! В Киеве при монастырях жил, подаянием кормился, во святой Киево-Печерской лавре был, место дивное. Молящихся много... И в Троице-Сергиевской побывал, в Эстонию даже заходил, на Ветлуге был, — ну, там народ хму-

рый, беспоповцы, сектанты, не люблю я их, не подают паразиты...

«А ведь она в сенях легла!» — внезапно подумал он о Любе, и сердце его сладко заныло.

— Эх, мамаша! — весело и горячо заговорил он, возбуждаясь от того, что все так хорошо складывается: и хозяйка попалась верующая, и молодая вдова одна в сенях спит. — Ах, мамаша! Много я по свету исходил, а если сказать по душе, как перед господом истинным, — нету стороны лучше русской! Идешь ты по ней, жаворонок звенит, вот трепещется, вот трепещется, тут тебе донник цветет, ромашка на тебя смотрит, тут люди хорошие попадут, расспросят, ночевать позовут, накормят... А то лесами идешь, — духовитые леса у нас, шмели жундят, осинки чего-то лопочут, — вот хорошо-то, вот сладко! Нету над тобой начальства, нет законов никаких, встал — пошел. Что мне люди? Кто такие? Да и память у меня плохая, забываю всех, никого не помню... Нет, совсем не помню. Я вот переспал у кого, встану, богу помолюсь, хозяину поклонюсь — и дальше. А есть которые и не пускают: жулик, говорят. Обидно мне это, бог с ними, обидно! Только много еще добрых людей, верующих, адреса дают, зовут: живи-и! Да не хочу я на одном месте жить, тянет меня все, сосет чего-то... Особо по весне. Нет, не могу!

Странник задумался, замолчал, упершись руками в лавку. Хозяйка стала засыпать, кланялась, вздрагивала, моргала... Четко шли часы в горнице, тихо было.

— Спать чегой-то клонит, — сказала виновато Настасья и зевнула. — Завтра вставать чуть свет...

Она с усилием поднялась и, разбирая широкую деревянную кровать, проговорила немного смущенно, будто сама над собой посмеиваясь:

— Дояркой я теперь на скотном, первая я по району-то, обязательство еще взяла... Ложитесь-ка с богом, тоже устали небось.

— Да нет, уж я на полу как-нибудь... Подстелишь чего-нибудь, и ладно... — притворно забормотал странник, жадно глядя на кровать с периной.

— Ложитесь, ложитесь, и не думайте! Я не сплю на ней, не люблю, широко очень... Люба когда поспит, а я все на печке. Ложитесь!

— Ну ладно, спаси Христос, — с видимой неохотой и тайной радостью сказал Иоанн и стал раздеваться.

Настасья походила еще немного, что-то переставляла, убирала, мелькала на стенах большой сонной тенью. На потолке, потревоженные, начинали гудеть мухи. Потом Настасья подошла к столу, щурясь, задула лампу, и в избе стало темно.

4

«В сенях ли легла?» — думал о Любе странник, томясь от сильного желания. Ему не лежалось, он ворочался, смотрел на лунные пятна света, наконец встал, белея в темноте нижней длинной рубахой.

— На двор забыл сходить... — пробормотал он, нашаривая ручку двери. Вышел в черные сени, постоял секунду, привыкая к темноте, прислушался, услыхал сонное дыхание Любы. «Здесь!» — подумал радостно и, пройдя сенями, открыл засов, вышел на крыльцо.

В деревне было темно, тихо, кое-где в избах не спали, горел огонь. Далеко где-то разговаривали, смеялись; луна светила в полную силу, но стояла еще низко, резкая тень избы тянулась далеко за дорогу. Мерцали некрупные звезды, холодило, в поле стрекотал трактор, но в какой стороне — не понять было. Голоса и смех все приближались, стали видны слабые огоньки папирос. Странник продрог, опять тихо прошел сенями, вошел в избу, дверь за собой не прикрыл. «Подожду еще, пусть хозяйка крепче заснет, тогда уж...» — подумал он, ложась и закрывая глаза.

За окнами послышались тихие голоса, негромко вякнула гармошка. Потом несмело постучали в окно. Вытянув шею, Иоанн увидел за окном две девичьи фигуры. Опять забарабанили в стекло — виновато и тихо. В избе крепко спали, — никто не шевелился.

— Ну что? — спросил за окном мужской голос. — Спит? А ну, давай погромче...

Парень сильно загрохал в раму кулаком, потом прыснул, отскочил от окна. «Черти их принесли!» — с досадой подумал Иоанн.

В сенях затопали босые ноги, в избу нетвердо вошла Люба в одной сорочке, растворила окно.

— Чего вам? — сердито спросила она.

— Любушка, — просительно заговорил девичий голос. — А мы думали, ты не спишь...

За углом засмеялись.

— Верно, думали... Дай ключ, в клубе потанцевать...

— Дай, Любушка, — подхватила весело и жалостливо другая. — А то совсем засохли, лето, а ни кино, ничего не видим...

— Не дам! — строго сказала Люба. — Спать ступайте!

Странник не шевелился. Затаив дыхание, смотрел на ее фигуру, освещенную луной, на крепкие руки и плечи, на грудь.

— Ни кино не видим, ни самодеятельности никакой... — продолжал уже обиженно второй голос.

— Любушка, мы на часок, — просительно ввернула первая. — Время-то — рано!

— Какой рано! Светать скоро будет!

— Где светать, где светать! — жарко отозвались за окном. — Коля, Коля, скажи, какой час?

— Без двадцать одиннадцать, — сиповато сказал кто-то за углом и засмеялся.

— Не дам ключа! — твердо сказала Люба. — Председатель не велел. Сегодня на правлении вопрос ставили. До утра танцуете, а потом на работу не подымешь. Спать надо!

Люба закрыла окно, мелькая белыми икрами, ушла опять в сени. Девушки пошептались о чем-то, отошли.

— Не дала? — врастяжку спросил кто-то за углом. — Тут-то она ему и сказала: за мной, мальчик, не гонись...

Заиграла гармошка, и надтреснутый голос фаль-

цетом вывел томительный куплет частушки. Потом голоса рассыпались, отдалились, стало очень тихо. Во дворе три раза прокричал петух. Странник сел на кровати, свернул папиросу, осторожно закурил в кулак, роняя искры на пол. Докурив и пригасив окурок в цветочном горшке, он подождал немного, встал, подошел неслышно к печке, потолкал Настасью, послушал: та тихонько посвистывала носом.

Тогда Иоанн решительно вышел в сени, крепко притворил за собой дверь и, чувствуя холод и дрожь в животе и ногах, вытянул руки, медленно двинулся к тому месту, где спала Люба.

Нащупав постель, он прилег с краю, сдернул тонкое одеяло, скользнул руками под сорочку и всосался в губы. Люба проснулась, вздрогнула, вывернула лицо из-под бороды, ударила странника в грудь и вскрикнула. Иоанн навалился на нее всем телом, зажал рот рукой и зашептал:

— Что ты, что ты, я это... Не бойся, я это...

— Пусти, бродяга! Богомолец чертов, пусти! — невнятно сказала Люба и, вырвавшись, села, зажав рубашку в коленях.

— Погоди... Женюсь на тебе, не шуми ты, послушай, что говорю... — зашептал он. — Женюсь, хоть завтра... Бороду сбрею, в колхозе буду работать... В баню схожу, — добавил он, вспомнив, что давно не мылся в бане. — Иди ко мне, приласкаю...

— Мама! — крикнула Люба, соскакивая с постели и прижимаясь к стене. — Отойдешь ты от меня, черт поганый? — старалась она за грубостью скрыть свой ужас перед ним.

— Я тебя любить буду! — тоскливо шептал странник, чувствуя уже, что ничего не выйдет. — Я здоровый, молодой, сила во мне мужская кипит... Бороду хоть сейчас сбрею! Ты подумай, ребят-то нынче в колхозах совсем нет, пропадешь или за вдовца выйдешь, на детей... Иди сюда, ну! Хочешь, в землю поклонюсь?

— Мама! — опять крикнула Люба. — Да что же это!

В избе послышался шорох.

— Тише ты! — шикнул на нее странник. — Ухожу, ухожу, будь ты проклята, ведьма, сатана...

Он поднялся, нашарил дверь, покачиваясь вошел в светлую от луны избу.

— Ктой-то? — окликнула его с печи хозяйка сонным голосом. — А? Ктой-то?

Странник молча лег на кровать, трясся весь, скрипел зубами, на глазах у него выступили слезы от обиды и разочарования.

Хозяйка пошевелилась на печи и затихла — тихонько захрапела.

— Сука! — шептал странник. — Сука! Сволочь, распалила, а?

В сенях что-то стукнуло, покатилось, загремело; послышались шаги на потолке; потом опять заскрипело что-то и стихло.

— На избу полезла, стерва, — злобно шептал странник. — И лестницу затащила... Ну и черт с тобой, будь ты, анафема, проклята!

Он опять закурил, на этот раз не скрываясь, матерясь шепотом. Время тянулось, лунный свет переместился, начало светать, а странник все никак не мог заснуть, ворочался на мягкой перине.

5

Разбудил его утром петух, — кричал заливисто под окном. Умываться он не стал, позевал, поскреб голову, долго сидел неподвижно, пытаясь вспомнить, что ему снилось, но так и не вспомнил. Солнце напекло, в избе было душно, пахло кислым, летали мухи, — все стало обычным, надоевшим, вчерашняя таинственность исчезла. Иоанн оделся, сел у окна, закурил и задумался.

Громко стукнув дверью, в избу вошла Настасья, хмуро и странно глянула на Иоанна, подошла к печке, взяла ухват, загремела заслонкой, наклоняясь, проворно и зло двигая острыми локтями. «Рассказала про меня девка-то... — догадался Иоанн. — Эх!.. Теперь не покормит. Видать, уходить надо».

Он встал, медленно, с нарочито-печальным, покаянным лицом надел пальто, взял котомку. Опершись на ухват, Настасья молча смотрела на него, в нитку сжав губы. У порога странник, вдруг повеселев, сдерживая улыбку, низко, как и в первый раз, поклонился.

— Ну, спаси Христос,— сурово сказал он.— Спаси тебя бог и помилуй... А я помолюсь за всех за вас!

— У, кобель красноглазый! — быстро сказала Настасья, заливаясь пятнистым румянцем и отворачиваясь.

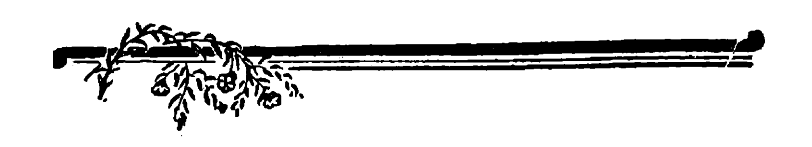
Странник надел шапку и вышел на крыльцо.

Как всегда, когда он уходил откуда-нибудь, ему становилось все веселее, веселее — дорога звала его, и забывалось и меркло вчерашнее. «День да ночь — сутки прочь!» — радостно думал он, спускаясь огородами к реке. У реки он скоро отыскал и перешел брод, поднялся на большой пологий холм и вошел в лес, из которого вчера вечером сползали к реке молочные пряди тумана. В лесу, поплутав немного, странник вышел на дорогу и пошел по ней на запад.

Куда выведет его эта дорога, он не знал. Но было у него снова легко и радостно на душе, опять он шел спорой походкой человека, привыкшего много ходить, шуршал палкой по траве и кустам, постукивал ею по деревьям, тихонько напевал что-то веселое. И только воспоминание о ночной неудаче и слабая тоска по чему-то незнакомому, которую он почувствовал вчера, стоя на коленях в темной горнице, иногда слабо покалывали его сердце.

Так шел он весь день, а вечером попросился ночевать в далекой деревне.

1956



ГОЛУБОЕ И ЗЕЛЕНОЕ

1

— Лиля, — говорит она глубоким грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку.

Я осторожно беру ее руку, пожимаю и отпускаю. Я бормочу при этом свое имя. Кажется, я не сразу даже сообразил, что нужно назвать свое имя. Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте. «Какая необыкновенная, нежная рука!» — с восторгом думаю я.

Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе: есть окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые. Из голубого окна на втором этаже слышна музыка. Там включили приемник, и я слышу джаз. Я очень люблю джаз, нет, не танцевать — танцевать я не умею, — я люблю слушать хороший джаз. Некоторые не любят, но я люблю. Не знаю, может быть, это плохо. Я стою и слушаю джазовую музыку со второго этажа, из голубого окна. Видимо, там прекрасный приемник.

После того как она назвала свое имя, наступает

долгое молчание. Я знаю, что она ждет от меня чего-то. Может быть, она думает, что я заговорю, скажу что-нибудь веселое, может, она ждет первого моего слова, вопроса какого-нибудь, чтобы заговорить самой. Но я молчу, я весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы. Как хорошо, что играет музыка и я могу молчать!

Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо: мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, в первый раз меня познакомили с ней, и она подала мне руку и сказала свое имя. Чудесное имя, произнесенное грудным голосом! И вот мы идем рядом, совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые. Музыки больше нет, и мне не за что спрятаться. Мой приятель отстает со своей девушкой. В страхе я замедляю шаги, но те идут еще медленней. Я знаю, он делает это нарочно. Это очень плохо с его стороны — оставить нас наедине. Никогда не ожидал от него такого предательства!

Что бы такое сказать ей? Что она любит? Осторожно, сбоку смотрю на нее: блестящие глаза, в которых отражаются огни, темные, наверное очень жесткие волосы, сдвинутые густые брови, придающие ей самый решительный вид... Но щеки у нее почему-то напряжены, как будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки сказать?

— Вы любите Москву? — вдруг спрашивает она и смотрит на меня очень строго. Я вздрагиваю от ее глубокого голоса. Есть ли еще у кого-нибудь такой голос!

Некоторое время я молчу, переводя дух. Наконец собираюсь с силами. Да, конечно, я люблю Москву. Особенно я люблю арбатские переулки и бульвары. Но и другие улицы я тоже люблю... Потом я снова умолкаю.

Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно. Подумаешь! В конце концов, я могу уйти домой, я тут рядом живу, и вовсе не обязательно

мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки.

Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут пятнадцать. Мы стоим посреди фойе и слушаем певицу, но ее плохо слышно: возле нас много народу, и все потихоньку разговаривают. Я давно заметил, что те, кто стоит в фойе, плохо слушают оркестр. Слушают и аплодируют только передние, а сзади едят мороженое и конфеты и тихо переговариваются. Решив, что певицу все равно не услышишь как следует, я принимаюсь разглядывать картины. Я никогда раньше не обращал внимания на них, но теперь я очень заинтересован. Я думаю о художниках, которые их нарисовали. Видимо, не зря повесили эти картины в фойе. Очень хорошо, что они висят тут.

Лиля смотрит на меня блестящими серыми глазами. Какая она красивая! Впрочем, она вовсе не красивая, просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб. Только иногда на нем появляется морщинка. Наверное, она думает в это время.

Нет, я больше не могу стоять с ней! Почему она так меня рассматривает?

— Пойду покурю, — говорю я отрывисто и небрежно и ухожу в курительную. Там я сажусь и вздыхаю с облегчением. Странно, но когда в комнате много дыма, когда воздух совсем темный от дыма, почему-то не хочется курить. Я осматриваюсь: стоят и сидят много людей. Некоторые спокойно разговаривают, другие молча торопливо курят, жадно затягиваются, бросают недокуренные папиросы и быстро выходят. Куда они торопятся? Интересно, если жадно курить, папироса делается кислой и горькой. Лучше всего курить не спеша, понемножку. Я смотрю на часы: до сеанса еще пять минут. Нет, я, наверное, все-таки глуп. Другие так легко знакомятся, разговаривают, смеются. Другие ужасно остроумны, говорят о футболе и о чем угодно. Спорят о кибернетике. Я бы

ни за что не заговорил с девушкой о кибернетике. А Лиля жестокая, решаю я, у нее жесткие волосы. У меня волосы мягкие. Наверное, поэтому я сижу и курю, хотя мне совсем не хочется курить. Но я все-таки посижу еще. Что мне делать в фойе? Опять смотреть на картины? Но ведь это плохие картины, и неизвестно, для чего их повесили. Очень хорошо, что я их раньше никогда не замечал.

Наконец звонок. Я очень медленно выхожу из курительной, разыскиваю в толпе Лилю. Не глядя друг на друга, мы идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет и начинается кинокартина.

Когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я перестаю вообще о чем-либо думать. Просто иду и молчу. На улицах нет почти никого. Быстро проносятся автомашины. Наши шаги гулко отдаются от стен и далеко слышны.

Так мы доходим до ее дома. Останавливаемся опять во дворе. Поздно, уже не все окна горят, и во дворе темнее, чем было два часа назад. Много белых и розовых окон погасло, но зеленые еще горят. Светится и голубое окно на втором этаже, только музыки больше не слышно оттуда. Некоторое время мы стоим совершенно молча. Лиля странно ведет себя: поднимает лицо, смотрит на окна, будто считает их; она почти отворачивается от меня, потом начинает поправлять волосы... Наконец я очень небрежно, как бы между прочим говорю, что нам нужно еще встретиться завтра. Я очень рад, что во дворе темно и она не видит моих пылающих ушей.

Она согласна встретиться. Я могу прийти к ней, ее окна выходят на улицу. У нее каникулы, родные уехали на дачу, и ей немного скучно. Она с удовольствием погуляет.

Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощанье. Она сама протягивает мне узкую руку, белеющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость.

2

На другой день я прихожу к ней засветло. Во дворе на этот раз много ребят. Двое из них с велосипедами: они собираются куда-то ехать; но, может быть, они уже приехали? Остальные стоят просто так. Мне кажется, все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришел. И я никак не могу пройти двором, я подхожу к ее окнам на улицу. Я заглядываю в окно и откашливаюсь.

— Лиля, вы дома? — громко спрашиваю я. Я спрашиваю очень громко, и голос мой не дрожит. Это прямо замечательно, что у меня не прервался голос!

Да, она дома. У нее подруга. Они спорят о чем-то интересном, и я должен разрешить этот спор.

— Идите скорей! — зовет меня Лиля.

Но мне невыносимо идти двором, я никак не могу идти двором...

— Я к вам влезу через окно! — решительно говорю я и вспрыгиваю на окно. Я очень легко и красиво вспрыгиваю на окно, перебрасываю одну ногу через подоконник и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю верхом на окне: одна нога на улице, другая в комнате. Я сижу и смотрю на Лилю.

— Ну, лезьте же! — нетерпеливо говорит Лиля. Брови ее сходятся и щеки все больше краснеют.

— Не люблю летом торчать в комнатах... — бормочу я, делая высокомерное лицо. — Лучше я подожду вас на улице.

Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они смеются теперь надо мной! Я знаю, девчонки все жестокие и никогда нас не понимают. Зачем я пришел сюда? Зачем мне служить посмешищем! Лучше всего мне уйти. Если побежать сейчас, то можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет? Секунду я раздумываю: будет ли это удобно? Потом я поворачиваюсь и вдруг вижу Лилю. Она с подругой выходит из ворот,

смотрит на меня, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки.

На подругу я не смотрю. Зачем она идет с нами? Что я буду с ними обеими делать? Я молчу, и Лиля начинает говорить с подругой. Они разговаривают, а я молчу. Когда мы проходим мимо афиш, я внимательно читаю их. Афиши можно иногда читать с конца, тогда выходят смешные гортанные слова. Доходим до угла, и тут подруга начинает прощаться. С признательностью я смотрю на нее. Она очень красивая и умная.

Подруга уходит, а мы идем на Тверской бульвар. Сколько влюбленных ходило по Тверскому бульвару! Теперь по нему идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем довольно далеко друг от друга. Примерно в метре друг от друга. Липы уже отцвели. Зато очень много цветов на клумбах. Они совсем не пахнут, и названий их никто, наверное, не знает.

Мы очень много говорим. Никак нельзя установить последовательности в нашем разговоре и в наших мыслях. Мы говорим о себе и о наших знакомых, мы перескакиваем с предмета на предмет и забываем то, о чем говорили минуту назад. Но нас это не смущает, у нас еще много времени, впереди длинный, длинный вечер, и можно еще вспомнить забытое. А еще лучше вспоминать все потом, ночью.

Вдруг я замечаю, что у нее расстегнулось платье. У нее чудно́е платье, я таких ни у кого не видел — от ворота до пояса мелкие кнопочки. И вот несколько кнопок теперь расстегнулись, а она этого не замечает. Но не может же она ходить по улицам в расстегнутом платье! Как бы мне сказать ей об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь смешное и застегнуть, как будто это самое обыкновенное дело. Как было бы хорошо! Но нет, этого никак нельзя сделать, это просто невозможно. Тогда я отворачиваюсь, выжидаю паузу в ее разговоре и говорю, чтобы она застегнулась. Она сразу замолкает. А я смотрю на большую надпись, торчащую на крыше. Написано, что каждый может выиграть сто ты-

сяч. Очень оптимистическая надпись. Вот бы нам выиграть когда-нибудь!

Потом я закуриваю. Я очень долго закуриваю. Вообще во всех трудных минутах лучше всего закурить. Это очень помогает. Потом я несмело взглядываю на нее. Платье застегнуто, щеки у нее пламенеют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня, смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу.

Час проходит за часом, а мы все ходим, говорим и ходим. По Москве можно ходить без конца. Мы выходим к Пушкинской площади, от Пушкинской спускаемся к Трубной, оттуда по Неглинке идем к Большому театру, потом к Каменному мосту... Я готов ходить бесконечно. Я только спрашиваю у нее, не устала ли она. Нет, она не устала, ей очень интересно. Гаснут фонари на улицах. Небо, дождавшись темноты, опускается ниже, звезд становится больше. Потом начинается тихий рассвет. На бульварах, тесно прижавшись, сидят влюбленные. На каждой скамейке по одной паре. Я смотрю на них с завистью и думаю, будем ли и мы с Лилей сидеть когда-нибудь так.

На улицах совсем нет людей, только милиционеры. Они все смотрят на нас. Некоторые выразительно покашливают, когда мы проходим. Наверное, им хочется что-нибудь сказать нам, но они не говорят. Лиля наклоняет голову и ускоряет шаг. А мне почему-то смешно. Теперь мы с ней идем почти рядом. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметные прикосновения, но я их чувствую.

Наконец мы расстаемся в ее тихом гулком дворе. Все спят, не горит ни одно окно. Мы понижаем наши голоса почти до шепота, но слова все равно звучат громко, и мне кажется, нас кто-то подслушивает.

Домой я прихожу в три часа. Только сейчас я чувствую, как гудят ноги. Как же тогда устала она! Я зажигаю настольную лампу и начинаю читать. Я читаю «Замок Броуди», который дала мне Лиля. Это замечательная книга, я читаю ее, и все время вижу почему-то лицо Лили. Иногда я закрываю глаза и

слышу ее нежный грудной голос. Между страниц мне попадается длинный темный волос. Это ее волос — ведь она читала «Замок Броуди». Почему я решил, что у нее жесткие волосы? Это очень мягкий, шелковистый волос. Я осторожно сворачиваю его и кладу в том Энциклопедии. Потом я спрячу его получше.

Совсем рассвело, и я не могу больше читать. Я ложусь и смотрю в окно. Мы живем очень высоко, на седьмом этаже. Из наших окон видны крыши многих домов. А вдали, там, откуда летом встает солнце, видна звезда Кремлевской башни. Одна только звезда видна. Я люблю подолгу смотреть на эту звезду. Ночью, когда в Москве тихо, я слышу бой курантов. Ночью все очень хорошо слышно. Я лежу, смотрю на звезду и думаю о Лиле.

3

А через неделю мы с матерью уезжаем на Север. Я давно мечтал об этой поездке — с самой весны. Но теперь жизнь в деревне для меня полна особенного значения и смысла.

Я впервые попадаю в леса, в настоящие дикие леса, и весь переполнен радостью первооткрывателя. У меня есть ружье, — мне купили его, когда я кончил девять классов, — и я охочусь. Я брожу совсем один и не скучаю. Иногда я устаю. Тогда я сажусь и смотрю на широкую реку, на низкое осеннее небо. Август. И на Севере очень часто стоит плохая погода. Но и в плохую погоду и в солнце я выхожу рано утром из дому и иду в лес. Там я охочусь и собираю грибы или просто перехожу с поляны на поляну и смотрю на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу! Можно сесть на берегу озера и сидеть неподвижно. Прилетят утки, с шипением опустятся совсем рядом. Сначала они будут сидеть, прямо вытянув шеи, потом начнут нырять, плескаться, сплываться и расплываться. Я слежу за ними одними глазами, не поворачивая головы.

Потом выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожа-

щие пальцы глубоко в воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, не шевеля ни одним плавником, будто греются или спят. И мне очень странно следить за ними. Глядя на них, сам цепенеешь и воспринимаешь все, как сквозь сон.

Мало ли что можно делать в лесу! Можно просто лежать, слушать гул сосен и думать о Лиле. Можно даже говорить с ней. Я рассказываю ей об охоте, об озерах и лесах, о прекрасном запахе ружейного дыма, и она понимает меня, хотя женщины вообще не любят и не понимают охоты.

Иногда я возвращаюсь домой ночью. Я иду полем, и мне немного страшно. Со мной заряженное ружье, но все-таки я часто оглядываюсь. Очень темно. Только в небе, если долго смотреть, можно заметить слабый свет. Но на земле очень темно. Надо мной кругами беззвучно летают совы. Я вижу их, но, сколько бы я ни прислушивался, мне не удается услышать взмахов их крыльев. Однажды я выстрелил. Сова глухо ударилась о межу и долго потом щелкала во тьме клювом...

Через месяц я возвращаюсь в Москву. Прямо с вокзала, едва поставив дома чемоданы, я иду к Лиле. Вечер, ее окна светятся, значит она дома. Я подхожу к окну, пробираясь через леса — ее дом ремонтируют, — и смотрю сквозь занавеску.

Она сидит за столом одна, у настольной лампы и читает. Лицо ее задумчиво. Она перевертывает страницу, облокачивается, поднимает глаза и смотрит на лампу, наматывая на палец прядь волос. Какие у нее темные глаза! Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти черные. Я стою под лесами, пахнет штукатуркой и сосной. Этот сосновый запах доносится ко мне, как далекий отзвук моих охот, как воспоминание обо всем, что я оставил на Севере. За моей спиной слышны шаги прохожих. Люди идут куда-то, спешат, четко шагая по асфальту, у них свои мысли и свои любви, они живут каждый своей жизнью. Москва оглушила меня своим шумом,

огнями, запахом, многолюдством, от которых я отвык за месяц. И я с робкой радостью думаю, как хорошо, что в этом огромном городе у меня есть любимая.

— Лиля! — зову я негромко.

Она вздрагивает, брови ее поднимаются. Потом она встает, подходит к окну, отодвигает занавеску, наклоняется ко мне, и я близко вижу ее темные радостные глаза.

— Алеша! — говорит она медленно. На щеках ее появляются едва заметные ямочки. — Алеша! Это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. Ты хочешь гулять? Я очень хочу гулять с тобой. Я сейчас выйду.

Я выбираюсь из лесов, перехожу на другую сторону и смотрю на ее окна. Вот гаснет свет, проходит короткая минута, и в черной дыре ворот показывается фигура Лили. Она сразу замечает меня и бежит ко мне через улицу. Она хватает мои руки и долго держит их в своих руках. Мне кажется, она загорела и немного похудела. Глаза ее стали еще больше. Я слышу, как колотится ее сердце и прерывается дыхание.

— Пойдем гулять! — говорит наконец она. И тут я обращаю внимание, что она говорит мне «ты». Мне очень хочется сесть или прислониться к чему-нибудь — так вдруг ослабли мои ноги. Даже после самых утомительных охот они так не дрожали.

Но мне неудобно идти с ней. Я только на минутку зашел повидать ее. Я так плохо одет. Я прямо с дороги, на мне лыжный костюм, сбитые ботинки. Костюм прожжен в нескольких местах. Это я ночевал на охоте. Когда спишь у костра, очень часто прожигаешь куртку и брюки. Нет, я никак не могу идти с ней.

— Какая чепуха! — беспечно говорит она и тянет меня за руку. Ей нужно со мной поговорить. Она совсем одна, подруги еще не приехали, родители на даче, она страшно скучает и все время ждала меня. При чем здесь костюм? И потом почему я не писал? Мне, наверное, было приятно, что другие мучаются?

И вот мы опять идем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. Начинается дождь, мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь от быстрого

бега, смотрим на улицу. С шумом падает вода по водосточной трубе, тротуары блестят, автомашины проезжают совсем мокрые, и от них к нам ползут красные и белые змейки света, отражающегося на мокром асфальте. Потом дождь перестает, мы выходим, смеемся, перепрыгиваем через лужи. Но дождь начинается с новой силой, и мы снова прячемся. На ее волосах блестят капли дождя. Но еще сильней блестят ее глаза, когда она смотрит на меня.

— Ты вспоминал обо мне? — спрашивает она. — Я почти все время о тебе думала, хоть и не хотела. Сама не знаю, почему. Ведь мы знакомы так мало. Правда? Я читала книгу и вдруг думала, понравилась бы она тебе. У тебя уши не краснели? Говорят, если думаешь долго о ком-нибудь, у него начинают уши краснеть. Я даже в Большой не пошла. Мне мама дала один билет, а я не пошла. Ты любишь оперу?

— Еще бы! Я, может, скоро стану певцом. Мне сказали, что у меня хороший бас.

— Алеша! У тебя бас? Спой, пожалуйста! Ты потихоньку спой, и никто не услышит, одна я.

Сначала я отказываюсь. Потом я все-таки пою. Я пою романсы и арии и не замечаю, что дождь уже кончился, по тротуару идут прохожие и оглядываются на нас. Лиля тоже не замечает ничего. Она смотрит мне в лицо, и глаза ее блестят.

4

Молодым быть очень плохо. Жизнь проходит быстро, тебе уж семнадцать или восемнадцать лет, а ты еще ничего не сделал. Неизвестно даже, есть ли у тебя какие-нибудь таланты. А хочется большой, бурной жизни! Хочется писать стихи, чтобы вся страна знала их наизусть. Или сочинить героическую симфонию и выйти потом к оркестру — бледному, во фраке, с волосами, падающими на лоб... И чтобы в ложе непременно сидела Лиля! Что же мне делать? Что сделать, чтобы жизнь не прошла даром, чтобы каждый день был днем борьбы и побед! Я живу в тоске, меня мучит мысль, что я не герой, не

открыватель. Способен ли я на подвиг? Не знаю. Способен ли я на тяжелый труд, хватит ли у меня сил на свершение великих дел? Хуже всего то, что никто не понимает моей муки. Все смотрят на меня, как на мальчишку, даже иной раз ерошат мне волосы, будто мне еще десять лет! И только Лиля, одна Лиля понимает меня, только с ней я могу быть до конца откровенным.

Мы давно уже занимаемся в школе: она в девятом, я — в десятом. Я решил заняться плаванием и стать чемпионом СССР, а потом и мира. Уже три месяца хожу я в бассейн. Кроль — самый лучший стиль. Это самый стремительный стиль. Он мне очень нравится. Но по вечерам я люблю мечтать.

Есть зимой короткая минута, когда снег на крышах и небо делаются темно-голубыми в сумерках, даже лиловыми. Я стою у окна, смотрю в открытую форточку на лиловый снег, дышу нежным морозным воздухом, и мне почему-то грезятся далекие путешествия, неизвестные страны, горы... Я голодаю, обрастаю рыжей бородой, меня печет солнце или до костей прохватывает мороз, я даже гибну, но открываю еще одну тайну природы. Вот жизнь! Если бы мне попасть в экспедицию!

Я начинаю ходить по трестам и главкам. Их много в Москве, и все они со звучными загадочными названиями. Да, экспедиции отправляются. В Среднюю Азию, и на Урал, и на Север. Да, работники нужны. Какая у меня специальность? Ах, у меня нет специальности.... Очень жаль, но мне ничем не могут помочь. Мне необходимо учиться. Рабочим? Рабочих они нанимают на месте. Всего доброго!

И я снова хожу в школу, готовлю уроки... Что ж, придется покориться обстоятельствам. Хорошо, я кончу десять классов и даже поступлю в институт. Мне теперь все безразлично. Я поступлю в институт и стану потом инженером или учителем. Но в моем лице люди потеряют великого путешественника.

Наступил декабрь. Все свободное время я провожу с Лилей. Я люблю ее еще больше. Я не знал, что любовь может быть бесконечной. Но это так. С каж-

дым месяцем Лиля делается мне все дороже, и уже нет жертвы, на которую я бы не пошел ради нее. Она часто звонит мне по телефону. Мы долго разговариваем, а после разговора я никак не могу взяться за учебники. Начались сильные морозы с метелями. Мать собирается ехать в деревню, но у нее нет теплого платка. Старинная теплая шаль есть у тети, которая живет за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль.

В воскресенье утром я выхожу из дому. Но вместо того, чтобы ехать на вокзал, я захожу к Лиле. Мы идем с ней на каток, потом — греться в Третьяковку. В Третьяковке зимой очень тепло, там есть стулья, и на стульях можно посидеть и потихоньку поговорить. Мы бродим по залам, смотрим картины. Особенно я люблю «Девочку с персиками» Серова. Эта девочка очень похожа на Лилю. Лиля краснеет и смеется, когда я говорю ей об этом. Иногда мы совсем забываем о картинах, разговариваем шепотом и смотрим друг на друга. Между тем быстро темнеет. Третьяковка скоро закрывается, мы выходим на мороз, и тут я вспоминаю, что мне нужно было съездить за шалью. Я с испугом говорю об этом Лиле. Ну что ж, очень хорошо, мы сейчас же поедем за город.

И мы едем, радостные оттого, что нам не нужно расставаться. Мы сходим на платформе, засыпанной снегом, и идем дорогой через поле. Впереди и сзади темнеют фигуры людей, идущих вместе с нами с электрички. Слышны разговоры и смех, вспыхивают огоньки папирос. Иногда кто-нибудь впереди бросает окурок на дорогу. Мы подходим, он все еще светится. Вокруг огонька — маленькое розовое пятнышко на снегу. Мы не наступаем на него. Пусть еще посветится во тьме. Потом мы переходим через замерзшую реку, и под нами гулко скрипит деревянный мост. Очень сильный мороз. Мы идем темной просекой. По сторонам совсем черные ели и сосны. Тут гораздо темнее, чем в поле. Только из окон некоторых дач падают на снег желтые полосы света. Многие дачи стоят совсем глухие, темные: в них, наверное,

зимой не живут. Сильно пахнет березовыми почками и чистым снегом, в Москве так никогда не пахнет.

Наконец мы подходим к дому моей тети. Почему-то мне представляется невозможным заходить к ней вместе с Лилей.

— Лиля, ты подождешь меня немного? — нерешительно прошу я. — Я очень скоро.

— Хорошо, — соглашается она. — Только недолго. Я совсем замерзла. У меня замерзли ноги. И лицо. Нет, ты не думай, я рада, что поехала с тобой! Только ты недолго, правда?

Я ухожу, оставляя ее на темной просеке совсем одну. У меня очень нехорошо на сердце.

Тетя и двоюродная сестра удивлены и обрадованы. Почему я так поздно? Как я вырос! Совсем мужчина. Наверное, я останусь ночевать?

— Как здоровье мамы?

— Спасибо, очень хорошо.

— Папа работает?

— Да, папа работает.

— Все там же? А как здоровье дяди?

Господи, тысячи вопросов! Сестра смотрит расписание поездов. Ближайший обратный поезд идет в одиннадцать часов. Я должен раздеться и напиться чаю. И потом я должен дать им посмотреть на себя и рассказать обо всем. Ведь я не был у них целый год. Год — это очень много.

Меня насильно раздевают. Топится печка, ярко горит лампа в розовом абажуре, стучат старинные часы. Очень тепло, и очень хочется чаю. Но на темной просеке меня ждет Лиля!

Наконец я говорю:

— Простите, но я очень спешу... Дело в том, что я не один. Меня на улице ждет... один приятель.

Как меня ругают! Я совсем невоспитанный человек. Разве можно оставлять человека на улице в такой холод! Сестра выбегает в сад, я слышу под окнами хруст ее шагов. Немного погодя опять хрустит снег, и сестра вводит в комнату Лилю. Она совсем белая. Ее раздевают и сажают к печке. На ноги ей надевают теплые валенки.

Понемногу мы отогреваемся. Потом садимся пить чай. Лиля стала пунцовой от тепла и смущения. Она почти не поднимает глаз от чашки, только изредка страшно серьезно взглядывает на меня. Но щеки ее напряжены, и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив! Я выпил уже пять стаканов чаю.

Потом мы встаем из-за стола. Пора ехать. Мы одеваемся, мне дают шаль. Но вдруг раздумывают, велят Лиле раздеться, укутывают ее шалью и сверху натягивают пальто. Она очень толстая теперь, лицо ее почти все закрыто шалью, только блестят глаза.

Мы выходим на улицу и первое время ничего не видим. Лиля крепко держится за меня. Отойдя от дома, мы начинаем немного различать тропинку. Лиля вдруг начинает хохотать. Она даже падает два раза, и мне приходится поднимать ее и вытряхивать снег из рукавов.

— Какой у тебя был вид! — еле выговаривает она. — Ты смотрел на меня, как страус, когда меня привели!

Я тоже хохочу во все горло.

— Алеша! — вдруг со сладким ужасом говорит она. — А ведь нас могут остановить!

— Кто?

— Ну, мало ли кто! Бандиты... Они могут нас убить.

— Ерунда! — говорю я громко.

Кажется, я говорю это слишком громко. И почему-то вдруг начинаю чувствовать, что на улице мороз. Он даже как будто покрепчал, пока мы пили чай и разговаривали.

— Ерунда! — опять повторяю я. — Никого здесь нет!

— А вдруг есть? — быстро спрашивает Лиля и оглядывается. Я тоже оглядываюсь.

— Ты боишься? — звонко спрашивает она.

— Нет! Хотя... А ты боишься?

— Ах, я страшно боюсь! Нас определенно разденут. У меня предчувствие.

— Ты веришь предчувствиям?

— Верю. Зачем я поехала? Впрочем, я рада все равно, что поехала.

— Да?

— Да! Если даже нас разденут и убьют, я все равно не пожалею. А ты? Ты согласился бы умереть ради меня?

Я молчу и только крепче сжимаю ее руку. Если бы мне только представился случай, чтобы доказать ей свою любовь!

— Алеша...

— Да?

— Я у тебя хочу спросить... Только ты не смотри на меня. Не смей заглядывать мне в лицо! Да... о чем я хотела? Отвернись!

— Ну вот, я отвернулся. Только ты смотри на дорогу. А то мы споткнемся.

— Это ничего, я в платке, мне не больно падать.

— Да?

— Алеша... Ты целовался когда-нибудь?

— Нет. Никогда не целовался. А что?

— Совсем никогда?

— Я целовался один раз... Но это было в первом классе. Я поцеловал одну девочку. Я даже не помню, как ее звать.

— Правда? Ты не помнишь ее имени?

— Нет, не помню.

— Тогда это не считается. Ты был еще мальчик.

— Да, я был мальчик.

— Алеша... Ты хочешь меня поцеловать?

Я все-таки спотыкаюсь. Теперь я не отворачиваюсь больше, я внимательно смотрю на дорогу.

— Когда? Сейчас? — спрашиваю я.

— Нет, нет... Если мы дойдем до станции и нас не убьют, тогда на станции я тебя поцелую.

Я молчу. Мороз, кажется, послабел. Я совсем его не чувствую. Очень горят щеки. И жарко. Или мы так быстро идем?

— Алеша...

— Да?

— Я совсем ни с кем не целовалась.

Я молча взглядываю на звезды. Потом я смотрю вперед, на желтоватое зарево огней над Москвой. До Москвы тридцать километров, но зарево ее огней видно. Как все-таки чудесна жизнь!

— Это, наверное, стыдно — целоваться? Тебе было стыдно?

— Я не помню, это было так давно... По-моему, это не особенно стыдно.

— Да это было давно. Но все-таки это, наверное, стыдно.

Мы идем уже полем. На этот раз мы совсем одни в пустом поле. Ни души не видно ни впереди, ни сзади. Никто не бросает на дорогу горящих окурков. Только звонко скрипят наши шаги. Вдруг впереди вспыхивает светлячок, бледный светлячок, похожий на далекую свечку. Он вспыхивает, качается некоторое время и гаснет. Потом опять зажигается, но уже ближе. Мы смотрим на этот огонек и наконец догадываемся: это электрический фонарик. Потом мы замечаем маленькие черные фигуры. Они идут нам навстречу от станции. Может быть, это приехавшие на электричке? Нет, электричка не проходила, мы не слыхали никакого шума.

— Ну вот... — говорит Лиля и крепче прижимается ко мне. — Я так и знала. Сейчас нас убьют. Это бандиты.

Что я могу ей сказать? Я ничего не говорю. Мы идем навстречу черным фигурам, мы очень медленно идем. Я вглядываюсь, считаю: шесть человек. Нащупываю в кармане ключ и вдруг испытываю прилив горячего восторга и отваги. Как я буду драться с ними! Я задыхаюсь от волнения, сердце мое бурно колотится. Они громко говорят о чем-то, но шагах в двадцати от нас замолкают.

— Лучше бы я тебя поцеловала, — печально говорит Лиля. — Я очень жалею...

И вот мы встречаемся на дороге среди пустынного поля. Шестеро останавливаются, зажигают фонарик, его слабый красноватый луч, скользнув по снегу, падает на нас. Мы щуримся. Нас оглядывают и молчат. У двоих распахнуты пальто. Один торопливо

докуривает папиросу, сплевывает в снег. Я жду оклика или удара. Но нас не окликают. Мы проходим.

— А девочка ничего, — сожалеюще замечает кто-то сзади. — Эй, малый, не робей! А то отобьем!

— Ты испугался, да? — спрашивает Лиля немного погодя.

— Нет! Я только за тебя боялся...

— За меня? — Она сбоку странно смотрит на меня и замедляет шаги. — А я ни капельки не боялась! Мне только платка жалко было.

Больше до самой станции мы не говорим. У станции Лиля, становясь на цыпочки и обсыпаясь снегом, срывает веточку сосны и сует в карман. Потом мы поднимаемся на платформу. Никого нет. У кассы горит одна лампочка, и снег на платформе блестит, как соль. Мы начинаем топать: очень холодно. Лиля вдруг отходит от меня и прислоняется к перилам. Я стою на краю платформы, над рельсами, и вытягиваю шею, стараюсь увидеть огонек электрички.

— Алеша... — зовет меня Лиля. У нее странный голос.

Я подхожу. Ноги мои дрожат, мне делается вдруг чего-то страшно.

— Прижмись ко мне, Алеша, — просит Лиля. — Я совсем замерзла.

Я обнимаю ее и прижимаюсь к ней, и мое лицо почти касается ее лица. Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза. На ресницах у нее густой иней, волосы выбились из-под шали, и на них тоже иней. Какие у нее большие глаза и какой испуганный взгляд! Снег скрипит у нас под ногами. Мы стоим неподвижно, но он скрипит. Сзади раздается вдруг звонкий щелчок. Он сухо катится по доскам, как по льду на реке, и затихает где-то на краю платформы. Почему мы молчим? Впрочем, совсем не хочется говорить.

Лиля шевелит губами. Глаза ее делаются совсем черными.

— Что же ты не целуешь меня? — слабо шепчет она. Пар от нашего дыхания смешивается. Я смотрю на ее губы. Они опять шевелятся и приоткрываются.

Я нагибаюсь и долго целую их, и весь мир начинает бесшумно кружиться. Они теплые. Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, прикрыв пушистые ресницы. Она целуется и смотрит на меня, и теперь я вижу, как она меня любит.

Так мы целуемся в первый раз. Потом она прижимается холодной щекой к моему лицу, и мы стоим не шевелясь. Я смотрю поверх ее плеча, в темный зимний лес за платформой. Я чувствую на лице ее теплое детское дыхание и слышу торопливый стук ее сердца, а она, наверное, слышит стук моего сердца. Потом она шевелится и затаивает дыхание. Я отклоняюсь, нахожу ее губы и опять целую. На этот раз она закрывает глаза.

Вдали слышен низкий гудок, сверкает ослепительная звездочка. Подходит электричка. Через минуту мы входим в светлый и теплый вагон, со стуком захлопываем за собой дверь и садимся на теплую лавочку. Людей в вагоне мало. Одни читают, шуршат газетами, другие дремлют, покачиваясь вместе с вагоном. Лиля молчит и всю дорогу смотрит в окно, хоть стекла замерзли, на дворе ночь и решительно ничего нельзя увидеть.

5

Наверное, никогда невозможно с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я никак не могу решить, когда я полюбил Лилю. Может быть, тогда, когда я, одинокий, бродил по Северу? А может, во время поцелуя на платформе? Или тогда, когда она впервые подала мне руку и нежно сказала свое имя: Лиля? Я не знаю. Я только одно знаю, что теперь уж я не могу без нее. Вся моя жизнь теперь делится на две части: до нее и при ней. Как бы я жил и что значил без нее? Я даже думать об этом не хочу, как не хочу думать о возможной смерти моих близких.

Зима наша прошла чудесно. Все было наше, все было общее: прошлое и будущее, радость и вся

жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение!

Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю, я только чувствую с болью, что наступает что-то новое. Это даже трудно выразить. Просто у нас обнаруживается разница в характерах. Ей не нравятся мои взгляды, она смеется над моими мечтами, смеется жестоко, и мы несколько раз ссоримся. Потом... Потом все катится под гору, все быстрей, все ужаснее. Все чаще ее не оказывается дома, все чаще разговоры наши делаются неестественно веселыми и пустыми. Я чувствую, как уходит она от меня с каждым разом все дальше, все дальше...

Сколько в мире девушек, которым по семнадцать лет! Но ты знаешь одну, только одной ты смотришь в глаза, видишь их блеск, и глубину, и влажность, только ее голос трогает тебя до слез, только ее руки ты боишься даже поцеловать. Она говорит с тобой, слушает тебя, смеется, молчит, и ты видишь, что ты единственный ей нужен, что только тобой она живет и для тебя, что тебя одного она любит, так же как и ты ее.

Но вот ты с ужасом замечаешь, что глаза ее, прежде отдававшие тебе свою теплоту, свой блеск, свою жизнь, глаза ее теперь равнодушны, ушли в себя и что вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть ее. Самые священные твои порывы, затаенные и гордые мысли — не для нее, и сам ты со всей сложностью и красотой своей души — не для нее. Ты гонишься за нею, ты напрягаешься, усиливаешься, но все мимо, мимо, все не то и не так. Она ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном неповторимом мире, а тебе нет туда доступа, ты грешник — и рай не для тебя. Какое же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают тебя! Ты опустошен, обманут, уничтожен и несчастен! Все ушло, и ты стоишь с пустыми руками, и впору тебе упасть и кричать, взывая к неведомому богу о своей боли и бессилии. И когда ты упадешь и закричишь, она взглянет на тебя, в глазах ее появится испуг, удивление, жалость — все, но того, что тебе

надо, не появится, и единственного взгляда ты не получишь, ее любовь, ее жизнь не для тебя. Ты даже можешь стать героем, гением, человеком, которым будет гордиться страна, но единственного взгляда ты никогда не получишь. Как больно! Как тяжело жить!

И вот уже весна... Много солнца и света, голубое небо, липы на бульварах начинают тонко пахнуть. Все бодро оживлены, все собираются встречать май. И я, как и все, тоже собираюсь. Мне подарили к маю сто рублей — теперь я самый богатый человек! И у меня впереди целых три свободных дня. Три дня, которые я проведу с Лилей — не станет же она и в эти дни готовиться к экзаменам! Нет, я не пойду никуда, никакие компании мне не нужны, я буду эти дни вместе с ней. Мы так давно не были вместе...

Но она не может быть со мной. Ей нужно ехать на дачу к больному дяде. Ее дядя болен, и ему скучно, он хочет встретить май в кругу родных, и вот они едут — ее родители и она. Прекрасно! Очень хорошо встретить май на даче. Но мне так хочется побыть с ней... Может быть, второго мая?

Второго? Она раздумывает, наморщив лоб, и слегка краснеет. Да, может быть, она вырвется... Конечно, она очень хочет! Мы ведь так давно не были вместе. Итак, второго вечером, у Телеграфа на улице Горького.

В назначенный час я стою у Телеграфа. Как много здесь народу! Над моей головой глобус. Еще сумерки, но он уже светится — голубой, с желтыми материками — и тихонько крутится. Полыхает иллюминация: золотые колосья, голубые и зеленые искры. От света иллюминации лица у всех очень красивые. У меня в кармане сто рублей. Я их не истратил вчера, и они со мной — мало ли куда мы можем пойти сегодня. В парк или в кино... Я терпеливо жду. Кругом все нервничают, но я удивительно спокоен.

По улице, прямо по середине, идут толпы людей. Как много девушек и ребят, и все поют, кричат что-то, играют на аккордеонах. На всех домах флаги, лозунги, много огней. Поют песни, и мне тоже хочется

запеть, ведь у меня хороший голос. У меня бас. Я когда-то мечтал стать певцом. О многом я мечтал...

Вдруг я вижу Лилю. Она пробирается ко мне, поднимается по ступенькам, и на нее все оглядываются — так она красива. Я никогда не видел ее такой красивой. Сердце мое начинает колотиться. Она быстро оглядывает всех, глаза ее перебегают по лицам, ищут кого-то. Они ищут меня. Я делаю шаг ей навстречу, один только шаг, и вдруг острая боль ударяет меня в сердце, и во рту становится сухо. Она не одна! Рядом с ней стоит парень в шляпе и смотрит на меня. Он красивый, этот парень, и он держит ее под руку. Да, он держит ее под руку, тогда как я только на второй месяц осмелился взять ее под руку.

— Здравствуй, Алеша, — говорит Лиля. Голос у нее немного дрожит, а в глазах смущение. Только небольшое смущение, совсем маленькое. — Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали...

Она смотрит на большие часы под глобусом и чуть хмурится. Потом она поворачивает голову и смотрит на парня. У нее очень нежная шея, когда она смотрит на него. Смотрела ли она так на меня?

— Познакомьтесь, пожалуйста!

Мы знакомимся. Он крепко жмет мне руку. В его пожатии уверенность.

— Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр... Ты не обижаешься?

— Нет, я не обижаюсь.

— Ты проводишь нас немножко? Тебе ведь все равно сейчас нечего делать.

— Провожу. Мне действительно нечего делать.

Мы вливаемся в поток и вместе с потоком движемся вниз, к Охотному ряду. Зачем я иду? Что со мной делается? Кругом поют. Играют аккордеоны. На крышах домов гремят репродукторы. В кармане у меня сто рублей! Совсем новая хрустящая бумажка в сто рублей. Но зачем я иду, куда я иду!

— Ну, как дядя? — спрашиваю я.

— Дядя? Какой дядя... Ах, ты про вчерашнее? — Она закусывает губу и быстро взглядывает на

парня. — Дядя поправляется... Мы очень здорово встретили май, так весело было! Танцевали... А ты? Ты хорошо встретил?

— Я? Очень хорошо.

— Ну, я рада!

Мы заворачиваем к Большому театру. Мы идем все рядом, втроем. Теперь не я держу ее под руку. Ее руку держит этот красивый парень. И она уже не со мной, она с ним. Она сейчас за тысячу верст от меня. Почему у меня першит в горле? И щиплет глаза? Заболел я, что ли? Доходим до Большого театра, останавливаемся. Молчим. Совершенно не о чем говорить. Я вижу, как парень легонько сжимает ее локоть.

— Ну мы пойдем. До свидания! — говорит Лиля и улыбается мне. Какая у нее виноватая и в то же время отсутствующая улыбка!

Я пожимаю ее руку. Все-таки у нее прекрасная рука. Они поворачиваются и неторопливо идут под колонны. А я стою и смотрю ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже семнадцать лет. У нее легкая фигура. Где я впервые увидел ее фигуру? Ах, да, в черной дыре ворот, когда я приехал с Севера. Тогда ее фигура поразила меня. Потом я любовался ею в Колонном зале и в Консерватории. Потом на школьном балу... Изумительный зимний бал! А сейчас она уходит и не оглядывается. Раньше она всегда оглядывалась, когда уходила. Иногда она даже возвращалась, внимательно смотрела мне в лицо и спрашивала:

— Ты что-то хочешь мне сказать?

— Нет, ничего, — отвечал я со смехом, счастливый от того, что она вернулась.

Она быстро оглядывалась по сторонам и говорила:

— Поцелуй меня!

И я целовал ее, пахнущую морозом, на площади или на углу улицы. Она любила эти мгновенные поцелуи на улице.

— Откуда им знать! — говорила она о людях, которые могли увидеть наш поцелуй. — Они ничего не знают! Может, мы брат и сестра. Правда?

Теперь она не оглядывается. Я стою, и мимо меня идут люди, обходят меня, как столб, как вещь. То и дело слышен смех. Идут по двое и по трое и целыми группами, — совсем нет одиноких. Одинокому невыносимо на праздничной улице. Одинокие, наверное, сидят дома. Я стою и смотрю... Вот они уже скрылись в освещенном подъезде. Весь вечер они будут слушать оперу, наслаждаясь своей близостью. Надо мной в фиолетовом небе летит и никак не может улететь крылатая четверка коней. И в кармане у меня сто рублей. Совсем новая бумажка, которую я не истратил вчера...

6

Прошел год. Мир не разрушился, жизнь не остановилась. Я почти позабыл о Лиле. Да, я забыл о ней. Вернее, я старался не думать о ней. Зачем думать? Один раз я встретился с ней на улице. Правда, у меня похолодела спина, но я держался ровно. Я совсем потерял интерес к ее жизни. Я не спрашивал, как она живет, а она не спросила, как живу я. Хотя у меня произошло за это время много нового. Год — это ведь очень много!

Я учусь в институте. Я очень хорошо учусь, никто не отвлекает меня от учебы, никто не зовет меня гулять. У меня много общественной работы. Я занимаюсь плаванием и уже выполнил норму первого разряда. Наконец-то я овладел кролем. Кроль — самый стремительный стиль. Впрочем, это не важно.

Однажды я получаю от нее письмо. Опять весна, снова май, легкий май, у меня очень легко на душе. Я люблю весну. Я сдаю экзамены и перехожу на второй курс. И вот я получаю от нее письмо. Она пишет, что вышла замуж. Еще она пишет, что уезжает с мужем на Север и очень просит прийти проводить ее. Она называет меня «милый», и она пишет в конце письма: «Твоя старая, старая знакомая».

Я долго сижу и смотрю на обои. У нас красивые обои с очень замысловатым рисунком. Я люблю смотреть на эти рисунки. Конечно, я провожу ее, раз

она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой, она не сделала мне ничего плохого. Я провожу ее, тем более что я давно все забыл: мало ли чего не бывает в жизни! Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад.

И я еду на вокзал в тот день и час, которые написала она мне в письме. Долго ищу я ее на перроне, наконец нахожу. Я увидел ее внезапно и даже вздрогнул. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось, оно стало лицом женщины. Она уже не девочка, нет, не девочка... С ней стоят родные и муж — тот самый парень. Они все громко говорят и смеются, но я замечаю, как Лиля нетерпеливо оглядывается: она ждет меня.

Я подхожу. Она тотчас берет меня под руку.

— Я на одну минуту, — говорит она мужу с нежной улыбкой.

Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Да, он меня помнит. Он великодушно протягивает мне руку. Потом мы с Лилей отходим.

— Ну вот я и дама, и уезжаю, и прощай Москва, — говорит Лиля и грустно смотрит на башни вокзала. — Я рада, что ты приехал. Странно как-то все... Ты очень вырос. Как ты живешь?

— Хорошо, — отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. Но улыбка у меня не получается, почему-то деревенеет лицо. Лиля внимательно смотрит на меня, лоб ее перерезает морщинка. Это у нее всегда, когда она думает.

— Что с тобой? — спрашивает она.

— Ничего. Я просто рад за тебя. Давно вы поженились?

— Всего неделю. Это такое счастье!

— Да, это счастье.

Лиля смеется.

— Откуда тебе знать! Но постой, у тебя очень странное лицо!

— Это кажется. Это от солнца. Потом я немного устал, у меня ведь экзамены. Немецкий...

— Проклятый немецкий? — смеется она. — Помнишь, я тебе помогала?

— Да, я помню. — Я раздвигаю губы и улыбаюсь.

— Слушай, Алеша, в чем дело? — тревожно спрашивает Лиля, придвигаясь ко мне. И я опять близко вижу ее прекрасное лицо, из которого уже ушло что-то. Да, оно переменилось, оно теперь почти чужое мне. Лучше ли оно стало, я не могу решить. — Ты скрываешь что-то, — с упреком говорит она. — Раньше ты был не такой!

— Нет, нет, ты ошибаешься, — убежденно говорю я. — Просто я не спал ночь.

Она смотрит на часы. Потом оглядывается. Муж кивает ей.

— Сейчас! — кричит она ему и снова берет меня за руку. — Ты знаешь, как я счастлива! Порадуйся же за меня. Мы едем на Север, на работу... Помнишь, как ты рассказывал мне о Севере? Вот... Ты рад за меня?

Зачем, зачем она спрашивает у меня об этом! Вдруг она начинает смеяться.

— Ты знаешь, я вспомнила... Помнишь, зимой на платформе мы с тобой поцеловались? Я тебя поцеловала, а ты дрожал так, что платформа скрипела. Ха-ха-ха... У тебя был тогда глупый вид.

Она смеется. Потом смотрит на меня веселыми серыми глазами. Днем глаза у нее серые. Только вечером они кажутся темными. На щеках у нее дрожат ямочки.

— Какие мы дураки были! — беспечно говорит она и оглядывается на мужа. Во взгляде ее нежность.

— Да, мы были дураки, — соглашаюсь я.

— Нет, дураки — не так, не то... Мы были просто глупые дети. Правда?

— Да, мы были глупые дети.

Впереди загорается зеленый огонек светофора. Лиля идет к вагону. Ее ждут.

— Ну, прощай! — говорит она. — Нет, до свиданья! Я тебе напишу, обязательно!

— Хорошо.

Я знаю, что она не напишет. Зачем? И она знает

это. Она искоса взглядывает на меня и немного краснеет.

— Я все-таки рада, что ты приехал проводить. И, конечно, без цветов! Ты никогда не подарил мне ни одного цветка!

— Да, я не подарил тебе ничего...

Она оставляет мою руку, берет под руку мужа, и они поднимаются на площадку вагона. Мы остаемся внизу на платформе. Ее родные что-то спрашивают у меня, но я ничего не понимаю. Впереди низко и долго гудит электровоз. Вагоны трогаются. Удивительно мягко трогает электровоз вагоны! Все улыбаются, машут платками, кепками, кричат, идут рядом с вагонами. Играют сразу две или три гармошки в разных местах, в одном вагоне громко поют. Наверно, студенты. Лиля уже далеко. Одной рукой она держится за плечо мужа, другой машет нам. Даже издали видно, какие нежные у нее руки. И еще видно, какая счастливая у нее улыбка.

Поезд уходит. Я закуриваю, засовываю руки в карманы и с потоком провожающих иду к выходу на площадь. Я сжимаю папиросу в зубах и смотрю на серебристые фонарные столбы. Они очень блестят от солнца, даже глазам больно. И я опускаю глаза. Теперь можно признаться: весь год во мне все-таки жила надежда. Теперь все кончено. Ну что ж, я рад за нее, честное слово, рад! Только почему-то очень болит сердце.

Обычное дело, девушка вышла замуж — это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. Последний раз я плакал в пятнадцать лет. Теперь мне двадцатый. И сердце стоит в горле и поднимается все выше — скоро его можно будет жевать, а я не могу плакать. Очень хорошо, что девушки выходят замуж...

Я выхожу на площадь, в глаза мне бросается циферблат часов на Казанском вокзале. Странные фигуры вместо цифр — я никогда не мог в них разобраться. Я подхожу к газировщице. Сначала я прошу с сиропом, но потом раздумываю и прошу чистой

воды. Неловко пить с сиропом, когда сердце подступает к горлу. Я беру холодный стакан и набираю в рот воды, но не могу проглотить. Кое-как я глотаю наконец, всего один глоток. Кажется, стало легче.

Потом я спускаюсь в метро. Что-то сделалось с моим лицом: я замечаю, что многие пристально на меня смотрят. Дома я некоторое время думаю о Лиле. Потом я снова начинаю рассматривать узоры на обоях. Если заглядеться на них, можно увидеть много любопытного. Можно увидеть джунгли и слонов с задранными хоботами. Или фигуры странных людей в беретах и плащах. Или лица своих знакомых. Только Лилиного лица нет на обоях...

Наверное, она сейчас проезжает мимо той платформы, на которой мы поцеловались в первый раз. Только сейчас платформа вся в зелени. Посмотрит ли она на эту платформу? Подумает ли обо мне? Впрочем, зачем ей смотреть? Она смотрит сейчас на своего мужа. Она его любит. Он очень красивый, ее муж.

7

Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым, маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.

Теперь я кончаю институт. Кончилась моя юность, отошла далеко-далеко, навсегда. И это хорошо: я взрослый человек и все могу, и мне не ерошат волосы, как ребенку. Скоро я поеду на Север. Не знаю, почему-то меня все тянет на Север. Наверное, потому, что я там охотился когда-то и был счастлив. Лилю я совсем забыл, ведь столько лет прошло! Было бы очень трудно жить, если бы ничто не забывалось. Но, к счастью, многое забывается. Конечно, она так и не написала мне с Севера. Где она — я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. Жизнь у меня

хороша. Правда, не стал я ни поэтом, ни музыкантом... Ну что ж, не всем быть поэтами! Спортивные соревнования, конференции, практика, экзамены — все это очень занимает меня, ни одной минуты нет свободной. Кроме того, я научился танцевать, познакомился со многими красивыми и умными девушками, встречаюсь с ними, в некоторых влюбляюсь, и они влюбляются в меня...

Но иногда мне снится Лиля. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех, трогаю ее руки, говорю с ней — о чем, я не помню. Иногда она печальна и темна, иногда радостна, на щеках ее дрожат ямочки, очень маленькие, совсем незаметные для чужого взгляда. И я тогда вновь оживаю, и тоже смеюсь, и чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему семнадцать лет и я люблю впервые в жизни.

Я просыпаюсь утром, еду в институт на лекции, дежурю в профкоме или выступаю на комсомольском собрании. Но мне почему-то тяжело в этот день и хочется побыть одному, посидеть где-нибудь с закрытыми глазами.

Но это бывает редко: раза четыре в год. И потом это все сны. Сны, сны... Непрошеные сны!

Я не хочу снов. Я люблю, когда мне снится музыка. Говорят, если спать на правом боку, сны перестанут сниться. Я стану спать теперь на правом боку. Я буду спать крепко и утром просыпаться веселым. Жизнь ведь так прекрасна!

Ах, господи, как я не хочу снов!

1956



НА ОХОТЕ

1

Ночевали на чердаке пустой заброшенной сторожки, на слежавшихся, потерявших запах листьях. Петр Николаевич проснулся, когда сквозь дырявую сухую крышу начал пробиваться слабый свет. Сын его, Алексей, посапывал, неловко подворотив руки, завернув голову телогрейкой, раскидав голенастые ноги с большими ступнями. Из-под бока у него торчал приклад ружья.

Петр Николаевич обулся, напряженно, боясь сорваться, слез по приставной лестнице, в которой не было многих перекладин. Слез, постоял, смотря на белеющий восток, неподвижные деревья, на мокрые отяжелевшие кусты, потом медленно обошел сторожку.

Раньше здесь был загон для скота, ночевали пастухи, пахло дымом, молоком и навозом. Земля была истоптана, скользка от коровьих лепех... Теперь уж лет пять все было заброшено, поскотина местами повалилась, подле сторожки буйно росла крапива с бледно-зелеными большими листьями. Во всем про-

глядывали заброшенность, запустение, глушь была на месте человеческого жилья.

Дверь в сторожку была сорвана, и Петр Николаевич вошел внутрь. Стекол в окнах не было, только в одном торчал запотевший осколок, ставший от старости, дождя и солнца сизым. По углам лежали кучи листьев, из печки вынута дверца, сняты чугунные плитки, теперь она зияла черной холодной пустотой. Почему ушли отсюда люди? Где пасут теперь свой скот?

Петр Николаевич присел на листья в углу, медленно закурил, долго следил темными невеселыми глазами, как дым вытягивается в окно, запутывается в толстой, пыльной паутине. Пахло в сторожке сухой глиной от печки, старым деревом; из окон тянуло свежестью травы, чистым и печальным воздухом, и Петр Николаевич задумался с погасшей папиросой о том времени, когда он, совсем молодой, охотился в этих местах.

Было тогда ему двадцать лет. Ошалевший, как молодой жеребенок, почти больной от счастья, целый месяц бродил он один или с отцом по этим певучим просторам, спал в шалаше или в стогах крепким молодым сном, просыпался на рассвете, и жизнь лежала перед ним — нетронутая, бесконечная, радостная. Потом бродил по озерам, лугам, по сумрачным борам, был несказанно счастлив своей молодостью, силой, готов был плыть за подстреленным чирком по ледяной воде, готов был выхаживать десятки километров в надежде подстрелить юркого бекаса. И еще — и это, пожалуй, самое главное — он был влюблен тогда, беспрестанно со сладкой тоской думал о ней, и казалось ему по молодости, что еще не то будет в жизни, что пока еще не настоящее счастье, а гораздо большее, невыразимое счастье будет впереди.

Сколько миновалось, сколько прожитого навсегда ушло из памяти, но этот тихий светлый край и то время, когда он здесь скитался, так и запомнились, как лучшее в жизни, как самое чистое. И он помнил все все дни и все места, где у него была счастливая охо-

та, помнил приметные деревья, потаенные родники, помнил даже, о чем он думал в то время.

Теперь он снова приехал сюда, уже не один, а с сыном, и когда ехал, было томительно-радостно, что он опять увидит все, а теперь стало тяжело — так все неузнаваемо изменилось, так все постарело, поблекло... Все не то, все не то, только рассвет и роса на траве, запахи — все те же, вечные, навсегда те же! И странно до восторга было думать, что еще тысячи людей, может быть и не родившихся даже, будут так же просыпаться когда-нибудь и глядеть на рассвет, туманы на лугах, будут дышать крепкими грустными запахами земли.

2

Сын скоро проснулся, завозился на чердаке. Потом заскрипела лестница, послышался прыжок на землю.

— Отец! — негромко позвал Алексей.

Петр Николаевич вздохнул, провел рукой по лицу, вышел. Алексей, расставив длинные в лыжных брюках ноги, смотрел вверх, лицо его было испуганно и восторженно.

— Тсс! — Он схватил отца за руку. — Слышишь?

— Нет... Что такое? — спросил Петр Николаевич, напрягая слух.

— Ну как ты не слышишь! — прерывающимся шепотом сказал Алексей и посмотрел на отца круглыми счастливыми глазами. — Осы! Их там три гнезда, вчера в темноте не видать было... Я случайно зацепил, как загудели! Слышишь? — Алексей с восторженным ужасом опять посмотрел вверх.

— Да, да, гудят! — подтвердил Петр Николаевич, улыбаясь.

Но он не слышал никакого гудения, и на сердце у него стало нехорошо. «Вот уже и слышать хуже стал...» — подумал он и, чтобы совсем не расстроиться, заторопился.

— Пойдем, пойдем! — пробормотал он. — Поздно уже... Рюкзаки, ружья где?

— Сейчас! — сказал сын и беззвучно полез на чердак. Так же неслышно, с серьезным лицом он передал отцу один и второй рюкзак, ружья, тяжелые патронташи, натянул новые сапоги, спустился и тут только перевел дух.

— Пошли! — громко и бодро сказал Петр Николаевич и первый зашагал по траве за поскотину, туда, где, он знал, должна быть тропинка.

Тропинку долго не могли найти, промокли от росы, пошли наугад к темному высокому бору. Ноги вязли в траве, поляны были белыми от ромашек. «Сколько добра пропадает, не косят, какая глушь!» — горько думал Петр Николаевич. Алексей шел сзади, спотыкался на кочках, часто и громко зевал, в рюкзаке у него брякало, этот равномерный слабый звук все что-то напоминал Петру Николаевичу и никак не мог напомнить.

Когда вошли в бор, сразу стала видна старая тропа. В бору было сумрачно, глухо; только оттуда, где за плотным рядом сосен лежала старица, робко пробивался голубой неверный свет. Немного погодя там, в таволговых кустах, запикала птица, песня ее была в два колена, очень проста: «пи-пи, пи-пи...»

Алексей снова зевнул, споткнулся.

— Далеко еще? — сонно спросил он.

И будто ждал этого вопроса, — в той стороне, где было совсем еще темно, взорвался глухарь и с частым тугим лопотом потянул между стволов. Идущие вздрогнули, остановились, у Петра Николаевича зашлось сердце: значит, и сейчас тут есть глухари!

— Фу, как напугал! — засмеялся он. — Идем, потом поохотимся, хватит еще!

Но Алексей, не слушая, свернул с тропы и хищно пошел по беззвучному мху, по хвое и празднике, держа ружье в руках. Петр Николаевич напряженно смотрел сыну вслед, каждую секунду ожидая выстрела, потом поправил ружье и тихо пошел дальше по тропе.

Он вышел на опушку, сел на поваленное дерево и стал ждать. Впереди было небольшое поле в тумане, за ним опять лес, потом снова должно быть поле, потом маленький еловый колок, затем кочковатая

сырая луговина с жесткой осокой и наконец — озеро, место всех давних охот.

Скоро показался Алексей и пошел к отцу, надевая ружье и смахивая что-то с лица.

— Ну что? Ничего не попалось? — спросил Петр Николаевич.

— Ничего! — точно радуясь, ответил Алексей. — Зато глухо как! Грибов сколько, ягод... Как хорошо! Неужели мы тут целый месяц проживем! Здорово!

— И прекрасно поживем! — Петр Николаевич любовно посмотрел на сына. — Тебе понравилось? Я боялся, не понравится... А ты у меня молодец!

Они пошли заросшей тропинкой через луг к новому лесу, но теперь впереди шел Алексей, а Петр Николаевич смотрел на него и думал, какой у него вырос большой сын и как хорошо, что он именно с сыном приехал сюда.

3

Уже солнце поднялось высоко и роса держалась только в тени под кустами, когда охотники подошли к озеру. Они не торопились особенно, наслаждались глухой тишиной и потаенностью, подолгу сидели на опушках, смотрели, как тихо встает солнце, слушали стеклянный скрип журавлей, стуки дятла, пронзительный крик кобчика...

Подойдя к озеру, Петр Николаевич снял кепку, пригладил поредевшие волосы, стал жадно оглядываться. Как все изменилось!

Озеро стало меньше и постарело как будто... Один узкий и мелкий конец его совсем зарос осокой и камышом; сильнее разрослись и наклонились к воде деревья, больше было на темной воде листьев кувшинок.

«Ну, здравствуйте! — думал, волнуясь, Петр Николаевич. — Здравствуйте, кусты, и деревья, и озеро! Здравствуйте, цветы и осока! Вот я опять с вами. Вы долго меня ждали, снились мне, и я пришел...»

Неуверенно, с трудом отыскал Петр Николаевич ту поляну, где у них с отцом горел когда-то, почти не переставая, костер, где они сушились после дож-

дей, варили себе похлебку, кипятили чай, и набивали патроны, и тихонько пели песни на два голоса. И поляна стала маленькой, чужой, и нельзя было понять: то ли она заросла, то ли, как почти все, давно ушедшее, представлялась в памяти более значительной, чем на самом деле. Петр Николаевич, моргая, чувствуя выступающие на глазах слезы, махнул сыну рукой.

— Пройди вдоль озера... Посмотри там... Иди, иди!

Алексей внимательно взглянул на отца, покраснел и ушел, торопливо шурша сапогами, горбатя худую спину. Петр Николаевич снял рюкзак, опустился на колени, стал перебирать траву руками. «Должно же что-нибудь остаться! — с наивной верой думал он. — Тут было так много золы, углей, головешек... Даже нижняя лапа сосны была подпалена!» Он мельком глянул вверх: серебрились в солнечном луче иглы, опутанные тонкой радужной паутинкой, неподвижно млели крепкие зелено-бурые шишки, толклись комары... Он разгреб траву, раздвинул ромашки на длинных крепких стеблях, но ничего не было, только сырая земля, старые прелые листья, маленькие липкие маслята; ползали муравьи, кровавыми каплями дрожала земляника. «Конечно... круговорот вещей, — растерянно и огорченно думал Петр Николаевич. — Все проходит, все изменяется... Да полно, тут ли мы были тогда?» Он встал, огляделся: здесь где-то под елью был у них шалаш. Где его искать? Это был такой прекрасный, такой прохладный днем и теплый ночью шалаш! Так хорошо строили они его с отцом... Где же эта ель? Не приснилось ли ему все на самом деле?

Шумел вершинами плотный лес, в просветах виднелось бледно-голубое небо, вспыхивали светлой изнанкой листья осин, солнечный теплый свет дрожал на толстых сумрачных стволах, а внизу было царство валежника, мертвых, на вид совсем свежих берез, папоротника...

Петр Николаевич стал лазить под елями, царапал лицо и руки, оглядывался на поляну, стараясь не от-

ходить далеко. Ружье мешало, и он снял его, прислонил к дереву. Попадалось много грибов, костяники, в лицо дышало влажным грибным духом, пряным запахом опавшей хвои. Петр Николаевич машинально срывал костянику и сосал, чувствуя кисловатый холодок на языке и в носу. Наконец он наткнулся на старую толстую ель, оглянулся на поляну, опять посмотрел на ель, и ему показалось, что здесь. Тут на стволе должна быть зарубка — на ней держалась с одной стороны хребтина шалаша, — он это помнил. Но по мощному в наплывах смолы стволу ничего нельзя было узнать. Тогда Петр Николаевич снова встал на колени, принялся задумчиво перебирать старый хлам, годами скопившийся под елью. И он нашел то, что искал: гнилые, почерневшие палки, на концах которых был виден срез от удара топором; еще и еще..,

Да! Вот все, что осталось от прекрасного крепкого шалаша — одни гнилые палки.

Петр Николаевич встал, отряхнул колени, выдрался из густоты, посмотрел сквозь листья на верхушку ели. Какая же она старая! Сколько лишаев! Вон и вершина совсем засохла... Скоро то, что когда-то было маленькой пушистой зеленой елочкой, совсем высохнет, умрет. Проходит жизнь!

Отыскав ружье, он вышел на поляну и остановился, бездумно засмотревшись на ромашки. Потом вспомнил, как перекликался с отцом, переломил ружье, вынул патроны, приставил стволы к губам, и над лесом полетел зовущий печальный певучий звук и замер где-то за озером.

— Ого-го-о! — откликнулся совсем рядом мальчишеский басок.

Послышался шорох, Алексей подошел с виноватым лицом, и Петр Николаевич понял, что он никуда не уходил, сидел поблизости, ждал, пока отец найдет, что ему нужно.

— Как это ты? — изумленно спросил Алексей.

Петр Николаевич показал, Алексей тотчас радостно переломил свое ружье, затрубил что есть мочи, и и опять волнующий, будто из тридцатилетней дали, полетел над лесом и озером зов.

— Ну вот, тут и будем жить, — негромко сказал Петр Николаевич.

— Ты тут жил с дедом тогда... Да? — краснея, спросил Алексей.

— Вынимай топор, надо шалаш делать, — глухо отозвался отец, роясь в своем рюкзаке и не глядя на сына.

4

Долго рубили жерди, устраивали, поправляли, заколачивали, покрывали шалаш двойным рядом еловых лап, старались, чтобы шалаш стоял под елью точно так же, как стоял раньше. Петр Николаевич все вспоминал, как делал его отец, точно так же делал сам, и точно так, как когда-то запоминал он, теперь смотрел во все глаза, помогал и запоминал его сын.

Часам к двум, — когда шалаш был совсем готов, когда все из рюкзаков было разложено и поверх еловой подстилки постелили еще куртки и телогрейки и разулись, чтобы отдохнуть,—стал натягивать дождь. Быстро надвигались темные облака, один за другим закрывая голубые просветы вверху. Лес смолк, потемнел, в шалаше от этого стало еще лучше. Ждали сильного дождя, но начало робко капать, трогая цветы и листья, и пошел обложной, реденький, теплый дождок.

Охотники сидели в шалаше и были счастливы от усталости, от того, что успели устроиться и могут переждать непогоду, от тишины и от едва слышного шурстения дождя по листьям. Все скоро опять отсырело, но пахло уже не тем чистым и грустным запахом росы, как давеча утром, а грибами, мокрой землей, горькой осиновой корой, березовым листом, и было немного душно.

Алексей скоро откинулся лицом в угол шалаша к толстому стволу и уснул. Петр Николаевич подвинулся ближе к низкому входу, стал смотреть на повисшие мокрые пряди берез, на поникшие ромашки на поляне. Он сидел, как часто сиживал раньше, обхватив колени руками, тихонько пел. Пел он

все печальные старые русские песни, в которых говорится о разлуке, о смерти, о несбывшейся любви, о раздольных полях, о тоске и сиротливых ночах... Пел и вспоминал многое из своей жизни, мечтал о чем-то сладком, затаенном, смотрел на хмурое небо и присмиревший тихий лес. Потом замолчал, стал думать о сыне и никак не мог понять, чего же больше в его мыслях: радости или ревности...

Потом он задремал, побежденный усталостью, склонясь головой на колени, но и в дремоте его не покидало ощущение тоски, сожаления по чему-то навсегда утраченному. Свешенная рука его затекла, набухла и была похожа на мертвую. А дождь все крапал, все шелестел в листьях осин и в траве, сырело и сырело кругом, и только под елью, где стоял шалаш, было сухо.

5

Проснулись они к вечеру, когда дождь кончился, взяли ружья и пошли мокрым лесом. С ветвей капало; капли были крупные, далеко слышалось: тук! тук! тук! Солнце заходило, слабо и желто просвечивая сквозь лес. В лесу стоял золотистый прозрачный пар, отпевали последние минуты птицы. Такой же пар висел над озером, жемчужно сверкали осока и кусты, чуть заметно колыхалась вода: где-то плавали утки.

Долго и осторожно переходили с места на место, пока вдруг не увидели уток, плавающих близко от берега, но далеко от того места, где они вышли к воде. Маскируясь, долго рассматривали уток в бинокль, потом попятились, неслышно и быстро перебежали вéрхом и в замеченном месте стали пробираться к берегу. Сквозь просветы ветвей показалась темная вода и на ней освещенные желтым солнцем утки.

— Обожди... дай я, дай я...— умоляюще зашептал Алексей.

Петр Николаевич подвинулся и сейчас же вспомнил, что и он так же просил отца, и отец часто уступал ему. Алексей положил стволы ружья на сучок, прицелился, лопатки его дернулись. «Тааах-тииу-

тууухxx!» — широко рассыпалось эхо, дым выскочил клубком на воду.

Охотники, уже не боясь, треща сучьями, продрались к берегу и еще успели заметить трех уток, стремительно уходящих над озером. А две утки остались на воде. Одна лежала неподвижно, желтея брюшком, другая завалилась на бок, старалась нырнуть, но только опускала голову в воду, слабо подрагивала крылом. Дым от ружья, смешиваясь с туманом, расходился пеленой по воде.

— Подожди, тесину срубим! — возбужденно сказал Петр Николаевич, снимая ружье и доставая топор.

Но Алексей не слушал. Морщась, не спуская глаз с шевелившейся еще утки, переживая свой первый выстрел, он стянул сапоги, помотал ногами, сбрасывая портянки, стал раздеваться. Тогда Петр Николаевич покорно положил топор, присел на сгнившее бревно и закурил.

Сын разделся, вздрагивая длинным худым телом, быстро покрывшимся гусиной кожей, полез в воду. Он ступал осторожно, нащупывал дно, отводил руками стебли кувшинок, ухал, но потом не выдержал, бросился и поплыл. Доплыв до уток, он повернул сияющее лицо к берегу.

— Отец! — крикнул он, задыхаясь от холодной воды. — Лезь купаться! Как здорово дымом пахнет! Сероводородным и табачным... Ого-го-го!.. — И он с восторгом нырнул, замолотил ногами, потом вынырнул, захлебнувшись и отфыркиваясь, и поплыл назад, по очереди перебрасывая уток.

А Петр Николаевич вдруг вспомнил, похолодев, как в такой же вечер подстрелил утку на другом озере, километрах в двух от этого, и поплыл за ней, а отец сидел на берегу, отдыхал и курил, и дым от выстрела и табака стлался по воде, и так прекрасно, волнующе пахло, что он крикнул об этом отцу и стал тоже барахтаться от восторга и шуметь.

Да, все то же... И жизнь по-прежнему прекрасна, и будет такой всегда, — всегда будут пылать, багроветь и зеленеть закаты и разгораться тихим светом

восходы, всегда будут расцветать цветы и расти трава, и новые люди будут приходить на места стародавних охот...

Радостно и печально до сердцебиения стало ему. Он больше не мог сидеть и курить, бросил папиросу и пошел, не разбирая дороги, по мокрой траве в глубь темнеющего примолкшего леса.

А сын его долго гулко хлопал ладонями по воде, плескался, кричал на разные голоса, вызывая эхо, смотрел на таинственный противоположный берег, подернутый уже синей дымкой потухающего дня. Потом вылез — дрожащий, посиневший, — быстро оделся, поскакал на одной ножке, погладил теплых уток с мокрыми лапами, прижмуренными бирюзовыми глазами и каплями крови на клювах, увидел недокуренную папиросу, оглянулся и воровато закурил, неумело затягиваясь, выкатывая глаза, кашляя и улыбаясь от не омраченного ничем счастья.

1956



НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ

1

Бежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать, остановились испуганные, сбились в кучу, глядят завороженно на море... Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идет человек — далеко слышно, приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: семгу ли несет, с пестерем ли в лес идет или так... Ночью белой, странной погонится парень за девушкой, и опять слышно все, и знают все, кто погнался и за кем.

Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, крепко строены, у каждой век долгий — все помнят, все знают. Уходит помор на карбасе, бежит по морю, видит деревня его темный широкий парус, знает: на тоню к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубьевого лова, знает деревня и про них, с чем пришли и как ловилось. Помрет старик древний, отмолят его по-своему, отчитают по древним книгам, повалят на песчаном угрюмом кладбище, и опять все видит деревня и вопли женок принимает чутко.

Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как все, тихий, ласковый, а ребята в деревне

все «зуйки», настырные, насмешники. Лет ему восемь, на голове вихор белый, лицо бледное в веснушках, уши большие, вялые, тонкие, а глаза разные: левый пожелтей, правый побирюзовей. Глянет — и вот младенец несмышленый, а другой раз глянет — вроде старик мудрый. Тих, задумчив Никишка, ребят сторонится, не играет, любит разговоры слушать, сам говорит редко и то вопросами: «А это что? А это почто?» — с отцом только разговорчив да с матерью. Голос у него тонкий, приятный, как свирель, а смеется басом, будто немой: «гы-гы-гы!» Ребята дразнят его; как чуть что, бегут, кричат: «Никишка-молчун! Молчун, посмейся!» Сердится тогда Никишка, обидно ему, прячется в поветь, сидит там один, качается, шепчет что-то. А в повети хорошо: темно, не заходит никто, подумать о разном можно, и пахнет крепко сеном, да дегтем, да водорослями сухими.

Стоит конь оседланный возле Никишкиного крыльца. Грыз плетень, щепал крупным желтым зубом; надоело ему, глаза закрыл, голову свесил, осел, ногу заднюю поджал, только вздохнет другой раз глубоко, ноздри разымутся. Стоит конь, дремлет, а деревня знает уже: собрался Никишка к отцу на тоню ехать за двадцать верст по сухой воде, мимо гор и мимо леса.

Выходит Никишка с матерью на крыльцо. Через плечо киса, на ногах сапоги, на голове шапка, шея тонкая шарфом замотана: холодно уже, на дворе октябрь.

— Ступай все берегом, все берегом, — говорит мать. — В стороны не сворачивай, будут тебе по пути горы. Проедешь ты эти горы, а там тебе тропа сама покажет. Тут близко, не заблукай гляди-дак... Двадцать верст всего — близко!

Никишка молчит, сопит, мать плохо слушает, на коня лезет. Взбирается в седло, ноги в стремя, бровки сдвигает...

— Но-о!

Тронулся конь, просыпается на ходу, уши назад насторчил, хочет понять, что за седок на нем нынче. Закачались мимо избы, подковы по мосткам зату-

кали: тук-ток. Кончились избы, высыпали навстречу бани. Много бань — у каждого двора своя, — и все разные: хозяин хорош — и банька хороша, плох хозяин — и банька похуже. Но вот и бани кончились, и огороды с овсом прошли, блеснуло справа море. Конь по песку захрупал, по сырым водорослям. На море косится, глаз выворачивает, не любит моря, хочет все левее забрать, подальше от воды. Но Никишка знай себе подергивает за правый повод, знай пятками по бокам коня колотит! Покоряется конь по самому краю воды бежит, шею согнул, пофыркивает.

Недалеко от берега — камни. Их много, обнаженных отливом, они черны и мокры. Там, возле камней, разбиваются в пену волны, вскипают белыми бурунами, глухо, бессильно рокочут. Здесь, возле берега, совсем тихо, светлое дно видно, вспыхивают искры перламутровых раковин и пропадают, лижет песок прозрачная волна. Сидят на камнях чайки, сонно смотрят в море. Потихоньку слетают, когда Никишка близко подъедет, скользят стремительно над самой водой и вдруг — крылья вверх, хвост веером! — садятся на воду. Сильно светит низкое солнце, блестит под ним море и кажется выпуклым. Длинные мысы плавают впереди в голубой дымке, будто висят над морем.

Смотрит Никишка вокруг, сияет разноглазьем, в улыбку губы распускает. Глядит на солнце, на выпуклое, огненное море, смеется:

— Солнушко, гы-гы-гы!..

Перелетают вдоль берега кулички, кричат печально и стеклянно. Качаются на высоких ножках у моря, бегают у самой воды: волна отойдет, они по мокрому за ней, волна обратно, и они назад.

— Куки-кули... — лопочет Никишка, останавливает лошадь, смотрит, какие они подбористые, с клювами, как шило.

А чего только нет на песке у моря! Вон красные мокрые медузы, оставшиеся после отлива, похожие на окровавленную печенку. Есть медузы другие — с четырьмя фиолетовыми колечками посередине. Есть

и звезды морские с пупырчатыми, искривленными лучами, а еще — следы чаек, долгие, запутанные, и тут же помет их сиренево-белый. Лежат грудами водоросли, тронутые тлением, тяжело и влажно пахнут. А то еще след босой ноги тянется у самой воды, сворачивает к лесу, топчется возле странной, вросшей в песок темной коряги. Кто это шел? Куда шел и зачем?

А слева все бревна да бревна: белые, вымытые дождями и волнами, выбеленные солнцем, промороженные и вновь прогретые, высушенные. Слышал Никишка, много лет тому назад на большой реке Двине запань прорвало. Весь лес, который был, в море убежал, не могли его поймать, а море выкинуло по берегам. Лежит с тех пор тут лес, никто его не берет, никому не нужно, рыбак разве только да охотник редкий — на костер...

Весело Никишке. А конь все копытами хрупает да фыркает. Ступит иногда с маху на медузу, разбрызгается она по песку, как редкий камень драгоценный. Пусто впереди, пусто назади, пусто слева, пусто справа. Справа море, слева лес. А в лесу что? В лесу вереск да сосны кривые, маленькие, злые, да березы такие же. Еще в лесу ягоды есть сладкие: брусника да черника. И грибы: маслята липкие, рыжики крепкие, сыроежки с пленочкой, с торчащими на шляпках сосновыми иглами. Медведи в лесу ходят и другие звери, а птицы совсем нет, рябки одни тонко перекликаются. Дед Созон говорит: «Отлетела чегой-то птица. Бывало, побежишь с пестерем-то в лес, полон пестерь набьешь-дак. А ныне отлетела чегой-то птица, бог с ней, совсем ушла!»

Выбегают из лесу в море реки большие и маленькие. Через большие реки мосты положены. Мосты сгнили уже, нюхает конь бревна, слушает, как внизу вода вызванивает. Ступнет шаг, шею выгнет, назад оглядывается.

— Но! — скажет Никишка потихоньку.

Конь еще шагнет. А звук на таких мостах глухой, мертвый, как по гробу, и вода внизу темная, будто крепкий чай. Все реки из болот выбегают, нету чи-

стой воды, вся такая, и море возле впадения рек желтую пену швыряет на песок.

А вон еще что-то темнеет впереди. Подъезжает ближе Никишка: шхуна в песок вросла. Мачт нет, и киля не видно, засосало. Лежит шхуна на боку, палуба сгнила, борта светятся, внутри водоросли с песком, больше ничего нет. Волна подходит, затопляет все, хлюпчит внутри, клокает, булькает, отходит — тонко струйки звенят, стекает вода на камни.

Воля, простор везде, воздух синий, резкий, и никого нет вокруг на много верст. Попадет когда тоня рыбачья пустая, заброшенная. Стены мхом поросли, окошки маленькие, голову только просунуть, крыша осела, прохудилась, да и сама тоня на один бок села, другой задрала, глядит окошками в пустое небо. Вешала повалены, все рушится, только крест старый поморский, черный, восьмиугольный, страшно торчит, будто страж, поставленный навечно, и нет ему смены. Жутко глядеть на такое, отвернись — и мимо, мимо...

Но Никишка не боится. Знает, в таких избушках лешаки живут, смирные, грустные. Скучно им, спят целый день. И теперь спали, да услыхали, едет мимо Никишка, проснулись, зевают, в окошки потихоньку выглядывают. У одного борода черная, у другого — сивая, у третьего — вовсе не поймешь какая. Болбонят — любопытно им, куда это Никишка едет.

А то черное что-то в песок вросло, коряга там или, может, камень темный, бугристый. Конь издали еще заметит, насторчит уши, голову задерет и вот вбок норовит, боится.

— Ты уже вбок не ныряй, — говорит коню Никишка. — Это ничего. Это так, дерево росло, да сгнило, да в песок устряло. Вишь, коряга. Вишь, это тебе ничего.

Конь слушает внимательно, кожей передергивает, фыркает и несет Никишку дальше, все вперед и вперед. Слушается он Никишку, его все звери слушаются.

Вот и горы пошли. Высокие, черные, стеной в море обрываются; на обрывах сосенки да березки корявые лепятся, смотрят в море, ждут горя. А внизу осыпь

каменная: камень воду лезет пить. Много камня, громоздко очень. Конь все осторожнее идет, принюхивается, выбирает, куда ногу поставить. Шел, шел и уперся, стал, ни вперед, ни назад, ни вбок — никуда. Слезает долой Никишка, коня берет за повод, шагает по мокрым камням. Вытягивает конь шею, прижимает уши, скачет за Никишкой, приседает, щелкают подковы, дрожат ноги. А под ноги ему накатываются со звоном волны. «Шшшшу!» — набегают, «сссс!» — откатываются, «шшшшу!» — снова набегают...

Нет, не может идти конь! Чудится ему, разверзается справа водяная бездна, приливает море, шумит, а под ногами камни — не уйти, не убежать! Останавливается он в ужасе, храпит, скалит желтые зубы. Сердится Никишка, дергает, тянет изо всех сил за повод. «Но-о!» — кричит. Не идет конь, глядит на Никишку фиолетово-дымчатыми дрожащими глазами. Стыдно становится Никишке, подходит он, гладит коня по щеке, шепчет ему что-то ласковое, тихое. Слушает конь Никишкин шепот, звон моря слушает, дышит тяжело, носит боками. Куда идти? Справа море, слева горы, сзади камень и спереди камень. Набирается конь решимости, снова скачет вперед, и снова щелкают подковы.

Наконец выбрались из осыпей, подвел Никишка коня к большому камню, забрался в седло, и опять захрупали копыта по песку, по водорослям. А земля впереди все мысы в море выставляет, будто длинные жадные пальцы. Едет Никишка, впереди далекий голубой мыс, доезжает до него, любопытно: а что там, за ним? А за ним — новый мыс, еще дальше выпяченный в море, там еще и еще, и так без конца.

Началась незаметная тропа, конь сам на нее свернул. Никишка задумался, смотрит вокруг, хочет тайну такую понять, чтобы все, что видит, разом открылось ему. Да не понять этой тайны, смотри только с тоской, впитывай глазами, слушай ушами да нюхай. И смотрит Никишка зачарованный, думает, а тропа все дальше в лес забирается, тихо становится, золотисто. Под ногами коня языки желтые, красные, оранжевые. Мхом пахнет, грибами, янтарные рыжики

везде, румяные волнушки. Весь лес горит, елочки только зеленые, да вереск стелется приплюснутыми островками. Красен лес, а из-под земли камни обомшелые, темные и бурые, выпирают, да стоят особняком серые, изуродованные, скрученные елки и березы, странно похожие на яблоню.

Попался бы кто-нибудь навстречу! Но никто не попадается, один Никишка в мертвом лесу. Скоро ли жилье? Не у кого спросить, молчат сосны и елки, загадочно смотрят на Никишку камни из-под земли. Все тут камень да сырость... Только тропа глубоко в земле выбита, старая, глухая. И вспоминает Никишка, рассказывала бабка, давно это было, шли по мертвым лесам странные люди, шли беглые, больные, несчастные, обиженные — всякий народ шел. И шли они все к одному месту, в одно место тропы глухие прокладывали, в пресветлую обитель — Соловецкий монастырь. А где этот монастырь, Никишка не знает, там где-то, где солнышко закатывается, а где, подико узнай!

И вдруг среди этого безмолвия, тишины мертвой, звуков неживых — песня. И слышно, топором кто-то постукивает, слышно, дымком попахивает. Конь — уши торчком, заржал звонко, рысью, рысью вперед: жилье чует. Выезжает Никишка из лесу, перед ним избушка — тоня отцовская. Все новое, все крепко и ладно, из трубы дымок курится, на вешалах сети сушатся, рыбой пахнет, на катках карбас лежит, черным боком маслится. На пороге отец сидит, топором постукивает, весло кормовое ладит да песню поет.

2

Увидел Никишку, встал отец — огромный, бородатый, в высоких сапогах, с ножом на поясе, в брезентовой робе. Руки у него красные, лицо бурое, борода светлая, а глаза резкие, пристальные, под густыми бровями.

— Сынок приехал! — говорит радостно отец. — То-то сон мне снился... Ну, как же дома у нас там? Все ли живы?

— Живы! — отвечает Никишка, слезает с коня, качается, ногами топает. — Председатель коня дяде Ивану дал, мамка меня послала, я и поехал... Ехал-ехал, весь заболел, спину больно.

— Ах ты, молодец у меня! — ласкает отец Никишку, волосенки льняные ручищей своей гладит. — А я слышу: топ какой-то, а кто такое, и не толкую. А это вон Никишка! Не боялся ехать-то?

— Не, ничего! Птиц видал, грибов видал, с конем говорил. Конь-то умный. На вот тебе, мамка наклала, — снимает Никишка кису. — А почто это камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небось ночью-то переваливаются кому неловко лежать, за день-то вон как бок отлежишь!

— Камни-то? — задумывается отец. — Камни, они, надо думать, тоже живые. Все живое!

— А ты понимаешь, об чем березы говорят?

— Дак они по-своему, по-березьи небось говорят! Надо язык ихний знать. А то где понять!

— А дядя Иван где?

— Дядя Иван на соседнюю тоню поехал, на Керженку. Давеча рыбаки туда бежали на доре, так и его взяли, баня у них там, у нас-то нету ее, вот дядя Иван и поехал.

— А в деревню когда он поедет?

— В деревню завтра поедет, полечится. Ноги-то, вишь, совсем у него разломило, на лошади и поедет по сухой воде.

— А я как же?

— Ты со мной останешься. Останешься? Семгу будем ловить.

— Останусь!

— Ну вот! Пойду лошадь расседлаю...

Пошел отец, коня поймал, расседлал, потом веревку вынес, привязал коня к березе, чтобы в лес не ушел. А Никишка в избу заходит: сильно пахнет рыбой, в печке угли тлеют, на столе хлеб, миски да ложки. Стены плакатами оклеены, на полке газеты ворохом лежат, чисто в избе, подметено, на веревке рукавицы, портянки да штаны сохнут. Выходит Никишка, обходит избу вокруг, в сарай заглядывает,

сарай открыт, не запирается, не от кого запирать. Только хотел было Никишка в сарай забраться, посидеть, подумать о сегодняшнем, вдруг... Что-то живое в сарае показалось, темно-рыжее, будто тусклый пламень. Глазами светит, в глазах блеск красноватый вспыхивает, как солнце предзакатное. Собака! Большая, лохматая...

Сел Никишка на корточки, смотрит во все глаза на собаку, оглянулся, — отец не видит, — заговорил с ней:

— Адя... Уууурр! Гу-гуррр... Гам!

Собака молчит, нюхает, голову набок склонила, одно ухо вверх, другое повисло, хвостом молотит — нравится ей Никишка. Наговорившись, выходит Никишка из сарая, собака за ним бежит, будто век его знает. Смотрит Никишка на отца, какой он большой, красный, солнцем освещенный, как царь лесной.

— Ну, сынок! — весело говорит отец. — Поедем сейчас за семгой! Только постой, весло доделаю.

Отходит Никишка немного, ложится на теплый песок, собака подбегает, рядом ложится тоже, дышит часто. Закрывает глаза Никишка, качает его, все кажется, на коне едет и чайки бесконечно над морем взлетают, а мимо горы, да леса, да кресты черные, лешаки из избушки выглядывают, болбонят: «Гляди ты! Никишка-то к отцу едет семгу ловить, чай-сахар везет!» И песню кто-то тонко поет, голос то распухнет, то утончится, баюкает, солнышко светит, а море все: «шшшшу!» — накатывает, «сссс!» — отходит. Тлеющие водоросли крепко пахнут, дурманят голову, а кулики стеклянно кричат: «пи-пии, пи-пии!»

Лежит Никишка, ни спит, ни дремлет... Песок теплый, собака теплая, смотрит на Никишку огненными глазами, говорит: «Пойдем, Никишка, в лес!» — «Я в море пойду, семгу стеречь!» — Никишка отвечает. А собака свое: «Пойдем в лес, я тебе тайны открою! Об чем березы шепчут, послушаем, что камни думают, узнаем». Любопытно Никишке, сомневается он уже, то ли в море идти, то ли в лес, но тут отец как раз подошел с веслом новым в руке.

— Вставай, сынок, поедем!

Встал Никишка, идет с отцом на берег, а море радуется, вспыхнет, заиграет, заголубеет, так и манит, так и расстилается. Налег отец грудью на карбас, столкнул в воду, Никишку посадил в корму, сам сапогами по воде бухает. Но вот и сам в карбас залез, на веслах умостился, Никишке кормовое дал, от берега отвалили, развернулись, и пошло качать-покачивать — вверх-вниз, вверх-вниз. Берег качается, собака на берегу качается... А отец шибко гребет, волна по скулам карбаса шлепает, взлетает брызгами вверх.

Подплывают осторожно к ловушке, привязывают карбас к жерди, встает отец, чутко вниз глядит, в тайник — нет ничего!

— Пусто... — шепчет отец и садится, спокойный.

Оглядывается Никишка, тихо кругом, ни звука, ветерок легкий ровно дует, солнце светит, слепит глаза море, а берег далеко, темный, в обе стороны уходит. И кажется Никишке, был он здесь, сидел давно годами, семгу ждал, думал о чем-то. Или снилось ему это?

— Прилив начался, — говорит отец. — Вода пошла, прибывает.

— Светла погода, — тихонько откликается Никишка. — Хорошо! Донушко видать...

— А как же! Она донушко светлое любит. Ей камни там или водоросли не надобны. Любит она по дну идти, в полводы. Полная вода или сухая вода — это ей неподходяще, не любит она этого, а идет, говорю, в полводы.

— А это колотушка?

— Это? Колотушка, сынок. Ее бить. Она здоровая, сильная, так не вытащишь, упаришься, вот и бьем мы ее колотушкой.

— А если она выскочит?

— Но! У нас ведь ловушка на то. Вишь, полотно-то? Сеть то есть. Это вот стенки на кольях с оттягами, а внизу... Глянь-ко, глянь!

Свешивается Никишка за борт, руками глаза свои разноцветные огородил, смотрит в воду, в глубину,

видит блики зеленоватые на дне, тонкие ячейки сети видит.

— Вишь? Вишь, внизу тоже сеть — это доно. Стенки да доно, это вот тайник, а там ворота, эвон где жерди две рядом торчат, ворота там... Она идет, в ворота зайдет и в тайник, а в тайнике мы ее бьем. От ворот заезжам, выход загораживам, доно подымаем и бьем.

— Знаю, — говорит Никишка, вспомнив что-то.

— Я и то говорю, знаешь, — соглашается отец. — Ты у меня все знаешь!

— А почто меня ребята дразнют?

— Они дурачки, не слушай их. Озорники они, все им баловство, а ты хороший, смирный да умный, вот они и дразнют. Не слушай их, ты всех умней.

— Это потому, что я думаю много.

— А ты много не думай и мало не думай, а так: захочется — думай, не захочется — не думай.

— А я думаю вот, куда это вода в море отливает, а после обратно приливает. Реки, те в море утекают, а море куда утекает?

— Море? Гм... — скребет отец бороду, на горизонт глядит, соображает. — Море, надо думать, в горло уходит, в Ледовитый океан. А из океана еще и в другие океаны переливается.

— А много других океанов?

— Много, сынок, и стран всяких много на земле.

— А ты был там?

— Был! В Италии и во Франции был, и в Норвеге, когда моряком ходил.

— А какая Италия?

— Италия-то? Италия, сынок, хорошая. Жарко там, солнца много, фрукты всякие растут, сладкие да вкусные. Все там черные от солнца ходят, раздетые, а зимы вовсе нет.

— Как нет?

— А так, снегу нет, морозу нет, ничего. Солнце круглый год.

— Хорошо! — вздыхает Никишка. — Пожить бы там!

— И поживешь, — говорит отец. — Вырастешь, на

капитана пойдешь учиться, дадут тебе пароход большой в Архангельске, и побежишь ты мимо Норвеги, вокруг земли, прямо в Средиземное море.

— А ты капитаном был?

— Нет, я был матросом. Всем я был: лесорубом, охотником, рыбаком, зверобоем...

— Ой, глянь-ко, что это?

— Где?

— Эвон кажется...

— А! То тюлень. Тюлень, сынок, подплыл на нас поглядеть.

— Знаю. А где он живет?

— В море живет. Днем рыбу промышляет, а ночью к берегу плывет, на камнях спит в местах глухих на съемных коргах.

— А почто его бьют? Его ведь не едят.

— Шкура у него хороша и жиру много. Его легко бить, глупый он; подкрадаются и бьют из винтовки. А ходим за ним всяко: другой раз на карбасах, другой раз на ледоколе. Теперь-то все больше на ледоколе.

— А если темна погода, страшно на карбасе?

— Ой, страшно! Вот вырастешь, возьму я тебя на зверобойку, узнаешь тогда наше северное морюшко. Эвон там, где блестки, — показывает отец рукой, — где солнушко стоит, там островок есть махонький, Жижгин называется. Тюлени там стадятся. На Жижгине этом поморы всегда промышляют. Стоит там избушка зверобойная на корге, прибегают туда поморы на карбасах, живут, хлеб жуют, поветрия ждут, погоды, значит. В хорошую погоду в море бегут, тюлешков стреляют, ночью на льдине спят. Быват, падет темна погода, так уж понесет, так понесет — заревишь на голос, с жизнью простишься. Кто посчастливей, того и отпустит скоро, ветер напеременку пойдет, утихнет, а кого и в горло вынесет, мимо Канина носа пронесет — да в океан... А там только если с самолета заметят, спасут, а так...

— Семга! — шепчет вдруг Никишка.

— Но! — встал отец на носу на коленки, наклонился над тайником. — А и верно! Ну, господи благо-

слови, я буду доно подымать, а ты карбас сдерживай...

Быстро отвязывает отец карбас, гребет по борту в объезд ловушки, к воротам. Заходят со стороны ворот, нагибается отец, руки в воду опускает, Никишка за жердь держится. А в глубине что-то беззвучно мечется — огромное, сильное, живое, — вздрагивают жерди, как струны дрожат оттяги. Шуршит капроновая сеть, подтягивает ее отец к карбасу; Никишка шею вытянул, смотрит вниз. Вот все меньше семге места остается, вот она уже два раза поверху плеснула, держит отец одной рукой подобранное доно, другой колотушку шарит. Нашел, руку вымахнул, ждет, когда ударить можно, а семга бьется все яростней, все сильнее, гулко по дну карбаса стукает, не дается, водой рыбаков окатывает. Вот уже вся она на виду, как в чаше пенной, — могла бы кричать, закричала бы от ужаса. Бьет отец с размаху ее по голове, и сразу все обрывается, обмякает семга, заваливается набок. Хватает отец ее за жабры, с усилием втягивает в карбас, шлепает вниз, под ноги Никишке. Смотрит Никишка на нее остановившимися глазами, а она еще жива, еще жабры вздрагивают, чешуя еще сжимается — огромная, серебристая рыба, с темной спиной, с загнутой вверх нижней челюстью, с черным крупным глазом.

Опускает отец доно, выталкивает карбас из ловушки, рукавом лицо вытирает и руки, рыбой пахнущие, вытирает о штаны, весело смотрит на семгу, на Никишку.

— Вот как мы ее!

Никишка бледен, поражен, опомниться не может. И опять привязан карбас к жерди, качается на волне вверх-вниз, молчит отец, сложив на коленях могучие красные кисти рук, отдыхает. А Никишка, привыкнув немного к семге, вспоминает отцовские слова о тюленях.

— Не, я лучше капитаном буду! Не хочу тюленей бить, они смирные...

— Можно и капитаном, — соглашается отец и смотрит на небо. — Глянь, тучи натягиват, солнушко

скрыват. Скоро домой поедем. Можно капитаном, а можно инженером тоже...

— А почто инженером?

— Как почто? Строить чего-нибудь будешь, это — тоже дело! Да вот хоть бы у нас: выстроим дорогу по берегу асфальтовую, причалов настроишь, огни гореть будут, машины гудеть...

Никишка задумывается, глядит на далекий берег: какой он темный, безлюдный.

— Ладно, — решает, — буду инженером.

— Ну вот! Посидим еще и — домой. Там у меня рыбка есть, давеча утром рюжу осматривал по сухой воде, так рыбки немного попало. Ухи мы с тобой наварим да чай вскипятим, оно и хорошо спать-то будет. А теперь давай-ко помолчим-дак... Семгу надо сторожить.

Молчит все: молчит море, карбас беззвучно качает, молчит берег, не доносится оттуда ни звука. Низкое уже солнце скрылось в облаках, потемнело все кругом, запечалилось. И никого нигде нет! Пусто везде, безлюдье, летают редкие чайки, на берегу в лесу рябки притаились да качаются в карбасе два рыбака и с ними семга заснувшая.

3

Гудит печка, потрескивает, тепло в избушке, за окошками сумерки. Зажег отец лампу, между ног ведро поставил с водой, шкерает на уху пятнистую тресочку, темную, горбатую рявшу, тонкую навагу. А Никишка дремлет, наговорился за день, наглядел-ся, наслушался, накачался, устал — дремлется ему, думается бог знает о чем!

Круто меняется погода. Дует верховой обедник, шумит море, все зеленеет и зеленеет на западе, просинь открывается, воздух стекленеет: настает вечер необыкновенной чистоты, со звездами и смутным небесным светом.

Лежит рыжий пес у печки, спит, подрагивает во сне. Никишка встрепенется, слушает вполуха — отец чего-то говорит мирное, давно знакомое, родное: о

рыбе говорит, о море, о ботах, о деревне, о ветрах — полуношнике, побережнике, шалоннике, обеднике... Большой отец, склонился низко над ведром, волосы, как у Никишки, белесые на глаза свесились, борода распушилась, сам неподвижен, руки только двигаются, нож сверкает, рыба в ведро с плеском падает; тень отцовская на стене вздрагивает. Говорит, говорит отец низким голосом. Никишка глаза закроет, видит землю родную с морем, лесами, озерами, солнце видит, птиц молчаливых, зверей странных, кажется ему, вот-вот тайну какую-то узнает, никому не ведомую, слово заветное произнесет, и нарушится молчание, заговорят все с Никишкой, все ему разом понятным станет. Но нет слова, не раскрыта тайна, — слышит Никишка ровный отцовский голос, и еще многое видит он и слышит.

Видит он, что псу рыжему снится — лес ему снится, звери страшные, неизвестные со всех сторон кидаются. Бежит пес, лает от страха, одно ему спасение — Никишка. Слышит, камни шептаться начинают, море шумит, деревья в лесу шевелятся, крикнет кто-то... Видит, вот отец в шторм на льдине качается, ревит; еще видит, семга огромная, сердитая бережает, по дну плывет, по чистому донушку, а за ней другие — тайник отцов ищут.

Гудят в печке дрова, потрескивают... Отец из избы выходит воду вылить из ведра, слышно, за стенкой ходит, дрова собирает, потом в избу входит, грохает дрова у печки. Вскакивает пес рыжий, вздрагивает Никишка, глаза открывает.

— Спишь, сынок? — наклоняется к нему отец. — На воле-то не видал, что делается? Ясень какой! Глянь-ко, глянь, поди...

Выходит Никишка — темно, холодно, ветер сырой дует. Солнце давно село, леса не видно, а вверху, между звезд, жемчужно светится продолговатое пятнышко. Будто облачко плывет на страшной высоте, озарено последним светом солнца. Но вот облачко медленно, неуверенно вытягивается в длину, пухнет в середине, выгибается мостом-радугой, между западом и востоком. Смотрит Никишка, закинув голову.

Дверь хлопает, пес к Никишке подбегает, за псом отец выходит, тоже голову поднимает.

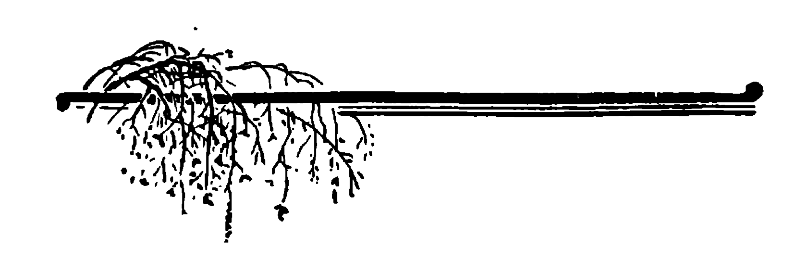
Неясные тени начинают ходить по облаку, цвета меняются, все синеют, все густеют — от молочного к синему. Кажется Никишке, напрягается облако, силится рубиновым огнем загореться, заполыхать вместо ушедшего солнца. Все сильнее мерцают краски, все больше света сверху льется, но напрасны усилия, все гаснет, и опять большие, смутные тени передвигаются печально по световому мосту.

Смотрит Никишка, смотрит отец и молчит, пес смотрит и тоже молчит. Молчит и лошадь, заснула возле березы, — все молчит, одно море светлеет от небесного огня и шумит, шумит...

Вот совсем гаснет свет, идет Никишка в теплую избу, забирается на кровать с ногами, пес у печки ложится, ставит отец уху на огонь и чайник ставит.

Скоро Никишка спать ляжет, и приснятся ему необыкновенные сны. Обступит его деревня, избы с глазами-окошками, лес подойдет, камни и горы, конь явится, пес рыжий, чайки прилетят, кулики сбегутся на тонких ножках, семга из моря выйдет — все к Никишке сойдутся, смотреть на него станут и, бессловесные, будут ждать заветного слова Никишкиного, чтобы разом открыть ему все тайны немой души.

1957



АРКТУР — ГОНЧИЙ ПЕС

Памяти М. М. Пришвина

1

История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить. Он никому не надоедал, никому не навязывался и никому не подчинялся, — он был свободен.

Говорили, что его бросили проезжавшие весной цыгане. Странные люди цыгане! Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие — на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам в телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются, — смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уже никогда не увидеть их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали.

Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.

Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, черный, среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «клинк-кланк!»

Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «клинк-кланк!» — люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.

Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.

Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе.

О его прошлом можно только догадываться. Наверное, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, со вздувшимся животом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело в тайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей — ее властелинов и богов.

Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплому животу, еще напряженному от родовых схваток. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить — такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли, — раздавалось только сопенье, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь.

В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть света. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него, слепого, настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.

Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его тело и душу.

У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым, — мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с другими такими же бездомными и голодными собаками.

Он не мог быстро бегать, ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жестокому. Когда он дрался с другими собаками, — а дрался он множество раз на своем веку, — он не видел своих врагов, он кусал и бросался на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов, и часто бросался и кусал впустую.

Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, — ведь мать, даже и собака, всегда знает своих детей по именам. Для людей он не имел имени... Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь в овраге, молясь в тоске своему собачьему богу. Но в судьбу его вмешался человек, и все переменилось.

2

В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день да унылые командировочные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод.

Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный влажный ветер, нагоняя тучи, — сосны грозно гудели и роняли шишки, которые крепко стукались о землю.

Я снял комнату на окраине, на верху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей. Но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность: он любил петь. Тончайшим фальцетом он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда, обедал и спал на террасе, а в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину, доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов.

Еще в сад забредали коты и, затаясь возле лопухов, следили за воробьями.

Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прораставшей между досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам.

Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук — это шли редкие рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей.

Ночью наш сад пах смородиной и росой, с террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: ду-дуу...

Однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревнами и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой.

Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами.

— Ну, теперь ступай! — сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы.

Пес уперся и задрожал.

— Гм... — произнес доктор и сел в качалку. Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза.

А доктор растерянно рассматривал его, ерзал в качалке и придумывал ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака! Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда.

— Арктур... — пробормотал доктор.

Пес шевельнул ушами и открыл глаза.

— Арктур! — снова сказал доктор с забившимся сердцем.

Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом.

— Арктур! Иди сюда, Арктур! — уже уверенно, властно и радостно позвал доктор.

Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. Так для слепого пса исчезло навсегда никогда не произнесенное имя, которым назвала его мать, и появилось новое имя, данное ему человеком.

Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, побирушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо-восторженные брехуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться.

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стоиков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца.

У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмякало и

замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым воркующим смехом, что это было за наслаждение! Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев, и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, и Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда. Скорее всего такое же ощущение счастья было у него, когда он слепым щенком сосал свою мать.

3

В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного.

Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натыкаясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком. Часто многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только

по широкой дороге, по лугу да по террасе нашего дома... Но если животные и люди были еще понятны ему и он, наверное, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, трактора, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах. И лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолетами.

Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла! Запахов было множество, и все они звучали, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему — одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать в ту сторону, откуда тянул ветер, он сразу же ощущал свалки и помойки, дома, каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц так же ясно, как будто видел все это.

Был на берегу реки, за складами, большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. Камень сам по себе пах не интересно, но в его трещинах и порах надолго задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались подолгу, иной раз неделями, их мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил и снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность.

И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за многие версты вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осиновом гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был

молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины, — кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая и неслышная нам, но знакомая и понятная ему.

И еще была у него одна особенность: он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему.

Однажды я шел по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали по дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие протяжные крики, хлопанье кнутов: с лугов гнали стадо.

Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» — подумал было я и заметил вдруг в приблизившемся уже стаде необычайное волнение.

Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровяные белки.

— Гришка! — закричал кто-то сзади. — Бежи скорей вперед, коровы ста-али!

Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и под-

дел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но не услышал ни звука.

Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его.

— Ах, ссобака! — злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом. Арктур не взвизгнул, он только вздрогнул, повернул на мгновенье к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал.

Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепехи, тронулось дальше.

Я подошел к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык, — ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним, он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.

4

И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, может быть, разжирел бы потом и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл.

Случилось это так. Я пошел утром в лес, посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увядание. За мною увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание.

Лес ошеломил Арктура. Там, в городе, все ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему все незнакомые предметы: высокая, жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршавшие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорилось прогнать из леса. И потом — запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, натыкаясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган.

— Ах, Арктур! — тихонько говорил я ему. — Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты и как сильно блестит роса на траве; не знаешь, что вокруг нас полно цветов: белых, желтых, голубых и красных, и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздья рябины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Откуда тебе знать, что лошади, и собаки, и кошки — все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, и зелеными, и просто серыми и как сильно блестят стекла окон при закате, каким огненным морем разливается тогда река! Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым

бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке-охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес!

Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше заходил в лес. Арктур мало-помалу оправлялся и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его! Теперь, увлеченный своим важным делом, он уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывая в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним. Потом опять принимался кружить по лесу.

Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал... «Кого-то причуял!» — подумал я и остановился.

— Гам! — звонко и неуверенно раздалось в кустах. — Гам, гам!

— Арктур! — в беспокойстве позвал я.

Но в этот момент что-то случилось, Арктур завизжал, завыл и с шумом ринулся в глубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился наперехват, громко окликая его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Спотыкаясь, застревая в густоте, задыхаясь, перебежал я одну поляну, потом другую, спустился в лощину, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлебываясь, срываясь на тонкий щенячий голос.

— Арктур! — крикнул я.

Он сбился с хода, я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал левое ухо к земле: видимо, он все-таки ударился где-то несколько раз, но так велика была его страсть, так был он возбужден, что и не почувствовал этих ушибов.

5

С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины.

Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Он, наверное, чувствовал все-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, он ждал одобрения, поддержки со стороны человека, что так необходимо каждой гончей собаке.

Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же был медлительным и неуверенным. Лес был ему молчаливым врагом, лес бил его, стегал по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы! Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах, доставался ему, только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед.

Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грез? Какое чувство пространства и топографии, какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос, где-нибудь за много верст в глухом лесу с шорохом трав и запахом сырых оврагов, добраться до дому!

Каждой гончей собаке необходимо одобрение со стороны человека. Собака гонит зверя и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лазам ее хозяин-охотник и что, когда придет пора, его выстрел решит все. В такие минуты голос хозяина дичает и заражает собаку; он тоже лазит по кустам, бегает, хрипло порскает, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазанки, смотрит на нее дикими, хмельными, счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Но, ты! Мил-лая!» — и треплет за уши.

Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном доктора и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, и если доктор, проснувшись в хорошем настроении, выглядывал в окно и звал: «Арктур!» — что тогда выделывал этот пес! Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подергивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам.

Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать возле террасы, делая все большие круги, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши, наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле, трусящим своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу.

6

Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирели, их было много, в низинах часто попадались бекасы, и охота была легкой и радостной.

Выбрав пень поудобней, я присел отдохнуть, и когда стих набежавший перед тем легкий ветерок и наступил миг чистейшей задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай доносился с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек, иногда пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного уже ближе и громче.

Я сидел на пне, поворачивая голову, посматривал кругом на желтые, засквозившие уже березы, на поседевший мох и далеко видные на нем багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева на близкой сухой гриве, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур.

Так вот когда пришлось мне услышать его! Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, скололся и замолчал. Долгие минуты длилось это молчание, лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий?

Но гон возобновился с новой силой, уже значи-

тельно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему, ни один не пройдет мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую, бурую от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась, с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, вслушиваясь в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговиной, пошла на опушку, нырнула в овраг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел в овраг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол.

Как в странном театре, промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем собаки.

7

Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода.

К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам, они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости, паратости и других охотничьих статьях; они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный,

что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие.

Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская бородка сквозила, на голове был мятый треух, на ногах сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо.

— Погоды-то ныне, погоды...— неопределенно начал он и, крякнув, умолк. Я догадался и спросил:

— Не за собачкой ли пришли?

— Да и как же! — оживился он и надел шапку. — Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему, а мне — вот как нужна собачка! Скоро охоты и все такое... У меня, слышь, у самого есть гончак, да плох: дурак, след не держит и голосу никакого. А ведь это что! Сляпой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает! Царская собака, вот те крест святой!

Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал. Потом нахмурился.

— Что ж, отказали вам? — спросил я, заранее зная ответ.

— И не говори! — огорченно воскликнул он. — Ну что ты скажешь! Я с малолетства охотник, — во, вишь, глаз потерял? — и сыновья у меня тоже и все такое. Нам, слышь, для дела собачка нужна, для дела! Нет, не дает... Пятьсот рублей сулил, — цена-то какова, а? — и не подходь, не дает! Чуть не заревил, а? Это мне ревить надо! Охоты подходят, собаки нет!

Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее.

— Она где же помещается у вас?—как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом.

— Уж не украсть ли собачку хотите? — спросил я.

Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня.

— Прости господи! — сказал он и засмеялся. — Ведь так с вами и до греха дойдешь А ты думал! Ну на что ему собака? Скажи ты вот!

Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня.

— А голос-то, го-олос! Понимаешь ты голос? Чистый ключ, я тебе говорю!

Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома.

— Погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, не охотник... Продаст он мне ее, святой крест, продаст. До покрова-то далеко, чего-нибудь придумаем. А ты говоришь... Эх!

Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор.

— Что он тут вам говорил? — волновался он. — Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий! И откуда он узнал о собаке?

Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услыхав голос хозяина, выполз из-под террасы и прихрамывая подошел к нам.

— Арктур! — сказал доктор. — Ты ведь мне никогда не изменишь?

Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло книзу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему, изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес.

8

Как было бы хорошо, если бы все прекрасные истории имели счастливый конец! И разве не заслуживает герой, хотя бы только гончий пес, долгой радостной жизни? Никто на земле не рождается бес-

цельно, и гончий пес рождается, чтобы гнать зверя-врага, гнать за то, что тот не пришел к человеку и не стал ему другом, как пришла когда-то собака, а остался на все времена диким. Слепой пес — не слепой человек, ему никто не поможет, он одинок в темноте, он бессилен и обречен самой природой, всегда жестокой к слабым, и если он все-таки страстно служит своему главному предназначению, если он живет, что может быть лучше, выше этого! Но такой жизнью Арктуру мало пришлось пожить...

Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день.

Когда друг, который жил с тобой, которого видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания.

И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий, несколько боком, бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюбленность в хозяина, даже запах его, запах чистой здоровой собаки... Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст.

Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока наконец не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал, и вызвался искать его вместе с нами.

Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура, другой слышал в лесу его лай...

Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по десять раз в день

наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес.

Я не искал Арктура. Мне как-то не верилось, чтобы он мог заблудиться, для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб... Но как, где? — этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть!

А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскучнел, перестал петь и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо, коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду, камень возле реки никто не обнюхивал больше. Бесполезный, он уныло торчал над землей и чернел от дождей, запахи его никому не были нужны.

В день отъезда моего мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что смолоду не стал охотником.

9

Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор распевал фальцетом свои арии. По утрам над городом стоял синий пар, река разлилась, куда хватал глаз, на разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным «клинк-кланк», гнусаво сигналили яркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело!

На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась, сильно и резко пахла,

и сколько было других запахов — осиновой коры, гниющего дерева, сырого листа, — всех их перебил сильный и резкий запах земли.

Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальдшнепы летели густо. Я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой неезженой дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо, и голые березы, и звезды.

Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие вразброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало, я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой... Да, это были останки Арктура.

Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У нестарой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока наконец не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу и не помнил уже и не знал ничего, кроме этого зовущего все вперед, все вперед следа.

В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, а оттуда, чавкая ногами по мокрой земле, и на дорогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой обломанной елью.

У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак! Есть тут Дианы и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы... Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды!

1957



СТАРИКИ

1

Сторожка стоит рядом со складом. Если подняться к ней, то окажется, что во всем городе нет места выше склада. Длинное каменное, осевшее от годов здание косо стоит на скате, поросшем мелкой пыльной травой, который в давние времена, говорят, был валом. От склада вниз к реке сбегают крутые спуски со старыми садами, овраги, кривые улицы. Сверху видны колокольни церквей, крыши старинных купеческих домов с галереями, резными фасадами, антресолями и мезонинами, базарная площадь, торговые ряды, зеленое поле стадиона, судоремонтные верфи, трубы двух маленьких белых фабрик, пристань, затоны, река и за рекой — уходящие в зыбкую даль поля, по которым все лето гуляет ветер и бродят смутные тени облаков.

Летом над городом висит белесая пыль, которую поднимают несущиеся по большаку машины, стоит жара, часто дуют суховеи, река сияет, слепит глаза, а вечерами в степи полыхают сквозь мглисто знойное марево долгие смугло-красные закаты. Летом ма-

шины к складу подходят с перегретыми моторами, с жаркими покрышками, а склад пахнет мылом, сосновыми досками, рогожей, бензином и сухой пылью.

Зимой все заносит снегом, по ночам наваливает на улицах сугробы, и утром лошади на них «как на печку лезут». Город делается уютнее, чище, веселее. Скрипят, визжат на морозе сани, звенят цепями машины, на базарной площади по воскресеньям желто от конского навоза, черно от полушубков, красно от мясных туш. Зимой склад становится ниже, насупленней, запахи его на морозе приглушаются, снег заваливает здание почти до решетчатых фигурных окошек, и только к двум кованым низким и широким дверям расчищена и укатана машинами дорога.

Город древен и глух. Издавна селились тут раскольники, сектанты, беспоповцы, кулугуры, строили по лесам скиты один суровее, потаеннее другого, скрывались от миру, а в городе — запирались ставнями, замыкались в молельнях, навешивали на колодцы замки каленого железа. Издавна уезжали отсюда в Москву, в Петербург самые дремучие, самые дикие купцы, торговали там, ворочали делами, кутили, но у каждого был в городе дом, и умирать каждый возвращался в родное гнездо. И издавна ничего не строилось здесь, кроме церквей, и ничего не производилось, кроме чугунов, ложек да туесков. Город был азиатски дик, скучен, пылен и всеми забыт.

И до сих пор стучат здесь в колотушки по ночам, до сих пор хоронят стариков по старинному обряду, торчат на буграх громадные дикие колеса бездонных колодцев, вырытых чуть не при Юрии Долгоруком, до сих пор бегают бабы на базар, слушают, обмирая, пророчества Коли-дурачка — грязного, загорелого, гогочущего и плачущего...

Но двадцатью верстами ниже по реке началось в прошлом году строительство большой плотины, и день и ночь везут туда самосвалы камень из карьеров. А выше города за какие-нибудь десять лет вырос вдруг богатейший колхоз-гигант, и все едут туда на «ЗИМах» иностранцы и обязательно останавливаются в городе, обязательно вылезают, разминаясь, —

в узких брюках, в больших ботах, в широких коротких пальто, в высоких шапках, — изумленно щелкают фотоаппаратами, иногда наскоро осматривают какую-нибудь ближнюю церковь, и на иностранцев уже не обращают внимания — привыкли.

2

В сторожке днем кладовщик в телогрейке и перчатках с отрезанными пальцами оформляет наряды, греются, курят шоферы районных автомашин. Стены вдоль лавок и самые лавки замаслены ими до блеска. В углу навалены горько пахнущие осиновые дрова, которые носит сюда сменщик ночного сторожа Тихона сухорукий Федор из слободы. Над столом прибита полка, на ней стоят банки с солью и чаем, лежат маслянистые черные гайки, гири от амбарных весов, начатые пачки махорки и папирос, которые забывают шоферы.

Потолок в сторожке закопчен, на полу сор, щепки — оба сторожа ленятся мести. Маленькая, обмазанная бурой глиной и невыбеленная печь громко гудит, чугунная плита малиново румяна, крошечное поддувало пылает жарким золотистым светом. Дверь сторожки в сильные морозы покрывается курчавым инеем по щелям, на окнах нарастает лед в два пальца толщиной. В оттепели с подоконников течет, пахнет сыростью и еще чем-то, чем пахнет обычно в нежилых помещениях, а дверь так забухает, что в нее нужно биться всем телом, чтобы открыть. В углу, возле двери, висит берданка с залапанным прикладом, потерявшим воронение стволом, заткнутым тряпкой от сырости. Иногда, от нечего делать, Тихон чистит ружье, вынимает патроны из магазина. Патроны набиты крупной дробью, желто маслятся, тяжелые, приятно холодят ладонь.

Тихон любит думать, сидя на чурбаке возле открытой топки, глядя в огонь. Крупное лицо его тогда неподвижно, зрачки сужаются, глаза светлеют. Мысли у него тяжелые, старческие, он много курит

в эти минуты, курит до сердцебиения и тягуче сплевывает на яркие стреляющие угли.

В молодости был Тихон даже до странности силен и необычен. Работая грузчиком, редко свободно шагая огромными ногами, таскал десятипудовые тюки. Необычен был, дик он и в поступках: так же, как и приземистые грузчики-татары с плоскими лицами и просвечивающими редкими усами, ел он сырое мясо. Покупал на бойне фунта два говядины, посыпав солью, рвал частыми белыми зубами, прижмуривая глаза, хрустел хрящами, пускал по бороде розовую слюну — жутко было тогда смотреть на него!

Всю молодость прожил он одиноко, замкнуто, не было у него друзей, никому не открывал он свою душу, был постоянно молчалив и мрачен. Однажды он исчез из города и пропадал года два. Вернулся смуглый, с досиза выбритой головой, сваляной порыжевшей бородой, в шелковой восточной рубахе и разбитых сафьяновых сапогах. О том, как жил и что делал эти два года, никому не рассказывал — сказал только, что был в Персии. Долго после этого вставлял он в разговор резкие гортанные слова и смотрел на всех еще угрюмее и загадочней.

Любят у нас все необычное, сильное, мощное, — Тихона же не любили, а боялись и удивлялись ему. Слава его была необычайна, но слава — дикая, мрачная. Трезвый он не был ни страшен, ни особенно интересен, зато пьяный — был зловещ и неистощим на дикие, буйные поступки.

Пил он редко, но помногу и не пьянел, а дурел: ломались брови, тяжелел, бешеным, стеклянным становился взгляд. И пел, закидывая голову, прикрыв пушистыми ресницами воспаленные глаза, дрожа волосатым кадыком, никому не известные песни без слов и без мелодий. Вернее, не пел даже, а выл фальцетом, тогда как голос был у него низкий и гулкий.

Иногда, начав пить с утра, в полдень выходил он из кабака, сутулясь, поглядывая исподлобья на встречных, сунув руки в карманы грязных, плоско висевших сзади штанов, шел на базар. Поодаль за ним,

нервно похохатывая, тянулись любопытные. На базаре Тихон молча, деловито, лиловея лицом, выдергивал коновязи, пугал всхрапывавших лошадей. Потом потный, с белыми дурными глазами, с зловещей шальной улыбкой подходил к какому-нибудь возу. «Ну што ты, што ты! — бормотал, бледнея, хозяин воза. — Слышь! Братцы, православные, да што же это!» Тихон нагибался, брался за колесо, напрягал широкую, сутулую от тюков и мешков спину и перевертывал телегу вместе с лошадью. Вытирая о штаны запачканные дегтем ладони, задыхаясь, злобно оглядывал он сбежавшихся мужиков и шел обратно в кабак. «Дубина! Черт бешеной!» — бормотали вслед ему. Громко кричать боялись.

Женился Тихон пьяным. На свадьбе он долго крепился, потея, под надсадное «горько!» целовал жену, потом зарычал, выкатил налитые хмельной мутью глаза, двинул стол — и с грохотом, давя друг друга в сенях, выскочили на улицу пьяные гости. А ночью, топча сапогами гряды на огороде, подошли к дому, ударили колом, высадили раму в окне комнаты, где спал Тихон с молодой женой, засвистели и, треща плетнем, кинулись врассыпную. И всю ночь с ревом гонялся Тихон за кем-то по слободе.

Было у него потом двое детей, но оба умерли: один — мальчиком в холеру, другой — уже взрослым парнем: утонул, нырнув под баржу.

Старел Тихон тоже не так, как все: ни сразу, ни постепенно, а временами. В каких-нибудь полгода старел лет на пять, появлялись резкие морщины, ноги становились узловатее, кривее, бороду подбивало сединой. Потом лет десять ходил все такой же, а наступало время — опять седела борода, салился, лез волос.

Изредка вспоминалась ему Персия. Закрывал он тогда глаза — нестерпимо пекло белое солнце, шумел базар, горячо пахло пылью, нечистотами из узких темных переулков, синим дымом плыл, курился капающий на раскаленные угли бараний жир, в кофейнях сидели на вытертых коврах, жевали тугие лепешки, пили кофе, горько-зеленый чай, курили, ска-

шивая желтоватые белки глаз, потом блестели копченые лица. А вечером жарко дышали нагретые за день старые стертые каменные плиты, мглился короткий нерусский закат, розовели на фиолетовом небе башни минаретов, тоскуя, горловым звуком рыдали, вопили муллы, и падали, падали, прижимаясь лицами к пыльному камню, правоверные.

И, вспоминая все это, вспоминая еще темную маслянистую воду залива, запах корицы, ржавого железа, гулкую темноту пароходных трюмов, изумрудно-синюю громадность моря и пахнущую острым животным потом толпу грузчиков: персов, греков, армян, азербайджанцев, русских, крепко сжимал Тихон зубы, клал руку на сердце и думал с бессильной тоской: «Уехать бы!..»

Но бывали в жизни Тихона и милые прекрасные минуты. Каждый год, недели за две до Петрова дня, доставал он из чулана давно уже отбитые, завернутые в мешковину косы, надевал новые, твердые, как черепок, лапти, брал котомку с хлебом и ехал наниматься косить.

Он забирался далеко, в места совершенно глухие, пойменно-черноземные и старообрядческие. И едва только устраивался на нижней железной гулкой палубе рядом с дровами, пахнущими лесом, оврагами, грибами, рядом с мерно вздыхающей, сующей стальными поршнями в желтом масле машиной, едва только ощущал частый лопот, шум и плеск плиц за бортом и дрожь быстроты, торопливости, как уходила на короткий срок, забывалась старая жизнь, и больно, сладко манили, звали к себе бесконечные пыльные дороги, речные плесы, дремотные, знойно-пахучие опушки — все давным-давно знакомое, все родное с самого детства.

И становился Тихон разговорчивее, терпимее к людям, совсем не пил во все время покосов. Вставал затемно и сразу начинал косить по росе, по холодку, и косил жадно, широко, не уставая, разгораясь только, глубоко дыша томительно-свежими запахами сена, медовой кашки, пряной, густой влажностью луговой земли.

Он любил раздолье, любил одинокую трель жаворонка в ало-зеленом утреннем небе, дрожал от одного вида жеребенка, бегущего с мокрыми от росы бабками, с глухим дробным топотом, с коротким пушистым хвостом на отлете; любил ребятишек с выгоревшими волосами, босоногих, молчаливо-пугливых, рысцой несущих от деревни косцам полдник; но больше всего, пожалуй, любил он долгие летние сумерки, волглую траву, с хрустом никнущую под равномерными взмахами косы, любил думать о чем-то неясно-прекрасном, слушать скорбно-медлительный дальний колокольный звон, ржание кобылиц в лугах, тонкие, певучие голоса баб из деревни; и еще любил спать коротким летним сном на теплых, душистых гумнах, любил видеть спросонок неисчислимое сияние звезд, от света которых смутно тлели в темноте наливающиеся ржи.

Но кончался покос, Тихон ехал обратно в пыль и пекло города, в вонь и грязь слободы, опять до хруста в позвоночнике напрягался, шагал по прогибающимся сходням, опять кричали приказчики, пахли смолой и рогожей баржи, затхлостью и тиной тянуло от реки и навозом, мочой — сверху, с базара, от кабаков и чайных, и опять Тихон пил, дурел, дрался и рычал, опять все звали его Бешеным, опять тянуло его в Персию...

Тихон давно овдовел, живет бобылем, посмирнел и подобрел, стал проще, откровеннее, отпустил желто-белую апостольскую бороду, но по-прежнему крепок, не потерял ни страшной силы своей, ни железного здоровья, и по-прежнему сопутствует ему слава сказочного силача.

Он стал достопримечательностью района, его полюбили, им гордятся, о нем рассказывают приезжим, в нем открыли вдруг и ум и русскую сметку, и уже лет двадцать без перерыва избирают в горсовет. Завидев громадную его фигуру, останавливает машину секретарь райкома, поспешно вылезает, здоровается, восхищенно спрашивает о здоровье, заранее жалуется на работу, на хлопоты и беспокойство, на планы, но и достижениями не забывает похвалиться. Тихо-

ну нравится этот интерес к нему, это почтительное внимание, и, наигранно хмурясь, смаргивая набегающую на глаза старческую слезу, он расправляет сизой громадной рукой бороду, глубоко, свободно дышит, с наслаждением смотрит по сторонам — на улицы, на народ, на небо, на реку внизу.

И, насладившись лицезрением Тихона, хозяйственной беседой с ним, повеселев и как бы поздоровев, секретарь райкома садится в свой «газик», а Тихон идет дальше, расстегнув на морозе полушубок, светло и прямо глядя всем в глаза. С ним здороваются, заговаривают, останавливают и приглашают в чайную. И всем Тихон отвечает охотно, гулко, громко, но в чайную идет только со старинными своими приятелями. Там он снимает шапку, еще шире распахивает полушубок, заводит под стул ноги в высоких негнущихся валенках, требует четвертинку и пару чаю и делает себе «пуншик». К нему подходят молодые ребята, монтажники, такелажники с верфи, просят выпить с ними, подносят ему, и он пьет охотно, не закусывая, немного рисуясь своей крепостью и твердостью.

Еще любит Тихон голосовать. Чуть не каждый день ходит он перед выборами на агитпункт, читает журналы и газеты, внимательно, наставив ухо, слушает доклады. Голосует он всегда первым, а если дежурит в этот день, к нему первому привозят урну. Надев очки, он долго читает, рассматривает бюллетени, снова расспрашивает о депутате — кто, откуда, кто были отец и мать, — приказывает: «Выйдите!» — и, аккуратно сложив толстыми пальцами, опускает бюллетени в урну.

3

Короток зимний день. Быстро вянет неяркий закат, тухнут розовые снега, блеснут в последний раз золотом окна домов, ало посветят крыши и колокольни, и ползут на город и реку сумерки.

На дежурство приходит Тихон к девяти часам. Вместе с кладовщиком он проверяет пломбы, зевает,

готовится к длинной ночи. Растопив в сторожке печь, он берет ружье, выходит на улицу и привычно осматривается. Небо черно и чисто, зеленовато горят редкие мелкие звезды. Тихон топчется на освещенном фонарем кругу, смотрит на широкую темную реку. Снег под ногами Тихона сверкает, колет глаза, скрипит. Пахнет льдом с реки, холодным железом и тулупом. Когда Тихон проходит под фонарем, тень его коротка и плотна. Потом она с каждым шагом удлиняется, толстеет, становится огромной, зыбкой, пропадает где-то на крышах нижних домов.

Все кругом, скованное морозом, неподвижно, мертво. Только поднимается прямо к черному небу прозрачный дымок из трубы сторожки, бросая на заснеженную крышу склада слабую шевелящуюся тень. Далеко внизу, на набережной, возле пристаней и дебаркадеров горят фонари, но самих фонарей не видно — одни редкие светлые пятна на снегу. Проезжают изредка последние «МАЗы», призрачный свет их фар скользит по крышам, по дороге, дрожит далеко по реке, и отчетливо слышен высокий звук моторов. Город спит, засыпан снегом, и даже в темноте все смутно-металлически светится: улицы, овраги, дворы, сараи, сады — только окна ближних домов и низкие двери склада аспидно черны.

Внезапно из-за елового леска сверху с визгом вылетают маленькие санки, раскатившись, останавливаются возле фонаря. Тихон вглядывается, узнает, подходя, молодого участкового милиционера. Лошадь его, небольшая, крепкая, с курчавыми седыми боками, сразу опускает голову, задумывается. Милиционер хочет вылезть, даже выставляет ногу в валенке, но почему-то раздумывает, бросает вожжи, снимает варежку, лезет, отвалясь, в карман за папиросами.

— Здорово, Тихон Егорыч! — бодро, звучно, нажимая на «ч», говорит он. — Происшествий не было?

— Какие у меня происшествия? — с усмешкой отвечает Тихон.

— Ну, не скажи! Этого у нас хватает! — значительно, с удовольствием говорит милиционер. — Вот хоть бы сейчас... — Он замолкает, прикуривая, потом

выпускает вверх целое облако дыма и пара и сплевывает. — Как раз еду с одного дела.

— Но? Откуда это?

— С Бондарева. Парня зарезали одного, механика... Девять ран, ножиком перочинным пырял, сука!

— Насмерть? — огорченно спрашивает Тихон.

— Живой пока. Бредит — смехота одна слушать!

— А энтого поймали? — живо интересуется Тихон.

— Взяли. В сельсовете сидит, завтра с утра машину пошлем.

— Ловко! — помолчав, говорит Тихон. — Как же это у них?

— Из-за девки. — Милиционер морщится, надевает варежку. — Девка там у них есть. Красивая, говорят, так вот из-за нее...

— Что ж ему теперь, энтому-то?

— Да уж не помилуем! Жив останется, лет десять дадут, а помрет — к стенке! Согласно указа.

— Н-да... — Тихон переступает с ноги на ногу, поправляет ружье, снег под ним скрипит. — А все из-за бабы! Сколько из-за ней народищу гибнет — уму непостижимо!

— Ну нет, не скажи! — радостно возражает милиционер и садится поудобнее. — Не скажи! Дурость собственная, распущённость, и все! А баба для нашей жизни... Я вот женился...

— Но? — перебивает Тихон. — Я и то слышу, женился. Давно?

— Две недели, третья пойдет.

— С приданым?

— Какое! Сирота... Вот погоди, премию получу за то дело, — помнишь? — свадьбу сыграем. Я тебя, Тихон Егорыч, давно хотел спросить, нарочно крюку дал, заехал: не будешь ли посаженым отцом и все такое?

— А что, хороша? — оживляется Тихон и тоже торопливо закуривает, прикуривая у милиционера.

— А ты думал! — говорит быстро милиционер, глядя на крупное лицо прикуривающего Тихона, расстегивает крючки шинели, лезет в боковой карман. — Нет, дома оставил... Фото я хотел тебе показать. Я

как один жил? А тут с дежурства ворочусь, в квартире натоплено, в печке щи горячие, на окнах — тюль! Я с мороза, заколенею, аж в носу слипнется, да? Она мне сейчас шинель сымает. Сымает, говорю, шинель...

Голос его звенит восторгом, он растягивает, повторяет слова, стремясь продлить удовольствие от собственного рассказа. «Шинель» он выговаривает как «шинэль».

— Подает умыться, ласкается, щекотит...

Милиционер смеется, не в силах больше рассказывать. Тихон тоже ухмыляется, но слегка пренебрежительно, — хрустит валенками, тянет носом. В санях набито сено. Прядями свешивается оно к полозьям, волочится по снегу — концы прядей белые. В морозном воздухе нежно пахнет летом.

— Вот так и живем, а ты говоришь — баба! — сипловато заканчивает милиционер и покашливает, глядя на далекое зарево огней над строящейся плотиной. — Строют все, — уже другим, будничным голосом замечает он. — Народу понаехало! Вот бы у нас такое подобное начали!

— Воров больше станет, — улыбаясь, замечает Тихон.

— Эх, Тихон Егорыч! Не в этом дело! — Милиционер нагибается, подбирает вожжи. — Воров мы бы повыловили, а жизнь пошла бы веселее. Ну, поехал... А на свадьбу я, значит, на тебя надеюсь!

Он поправляет кобуру пистолета, сморкается по очереди на ту и другую сторону необыкновенно сильным и резким звуком, дергает вожжи. Застоявшаяся, замерзшая лошадь с мохнатой заиндевелой мордой обрадованно трогает, стеклянно стреляют примерзшие полозья, слышится тонкий затихающий визг саней и хрусткое жик-жик-жик под копытами лошади. Милиционер едет, так и не убрав ноги. Нога торчит из саней, чертит пяткой снег на обочине дороги.

Тихон снова принимается расхаживать под фонарем, думая о молодой жене милиционера, усмехаясь, поглядывая вниз на город, останавливаясь и прислушиваясь. Скоро он зябнет и, похлопывая рукавицами, идет в сторожку пить чай.

4

А в слободе, внизу, возле самой реки живет другой старик — бывший миллионер, пароходчик и мукомол Круглов. Зиму и лето ходит он в залоснившемся, потрескавшемся от старости романовском полушубке, зиму и лето не снимает шапки и валенок, не выпускает из рук старинной с серебряной накладкой палки.

Круглов — ровесник Тихона и в молодости тоже знаменит был на всю Россию. Только иная слава была у него: бешеные тройки, цыгане, разгул — такой дикий, такой изощренный, какой мог быть только в таких глухих, медвежьих углах. Цыганистый, худой, с жаркими черными глазами, с необыкновенной черной густоволосостью, Круглов ненасытен был в кутежах, в мерзостях, в разврате, как ненасытен он был и в трудах своих после попоек. Кутить ездил он в Москву, в Петербург, забирался даже в Париж, изумляя цивилизованных французов своей тройкой, громадностью сумм, ежедневно просаживаемых в ресторанах и публичных домах, поражал неуемной тоской своей, слезами, пляской, совершенно немыслимым диким озорством.

Но, несмотря на такие разгулы, капиталист, хозяин Круглов был жестокий, умный и хладнокровный. Чуть не весь край держал он под своим контролем, жил нарочно в этом глухом городе, и ездили к нему, проклиная российские дороги, на поклон губернаторы, советники, купцы и даже жандармы.

Женившись, взял Тихон за женой небольшое приданое, задумал осесть в деревне, купил под городом мельницу, переехал туда жить, взялся было ворочать, но в тот же год задавил, разорил начисто его Круглов, трынки не оставил, и весь в долгах, еще более злобный и бешеный, вернулся Тихон в город. А Круглов, завидя на пристани Тихона, снимал каждый раз высокий картуз с белоснежной шелковой подкладкой, низко кланялся под радостный гогот приказчиков, спрашивал: «Как здоровьице, ваше степенство?» — и только скалился в ответ Тихон.

Революция была для Круглова громом среди ясного неба. А было тогда ему лет сорок, уж немного поостепенился он, еще более крутым, жестоким, неумолимо-хозяйственным стал, уж капитал его шел в народе за миллионы. И мгновенно мужицким своим чутьем понял он, что на старое не повернет, что слишком глубоко и широко все это, что надо уезжать, бежать. И чуть было не бежал, уж и паспорта достал (английские), уж набил сундучок великоустюжской работы золотом и бриллиантами, да проговорилась жена — женщина простая, недалекая, совсем не под стать ему, — пришли красногвардейцы, конфисковали золото, выселили семью Круглова из дому, а самого продержали три месяца в тюрьме. Вышел из тюрьмы Круглов другим человеком: похудевшим, темнолицым, смирным, простым с виду, но еще более ожесточившимся в душе. И до смерти не мог простить жене своего несчастья, за пятнадцать лет слова путного не сказал ей, а когда умерла — простился в церкви, поцеловал покойницу по обряду в венчик, а провожать не пошел. И, приходя потом на кладбище в родительские субботы, ни разу не подошел к ее могиле, да и не знал, где она.

К старости Круглов стал евангелистом-сектантом, живет замкнуто, всеми забытый и одинокий. По субботам ходит в молельню, жадно читает библию, с радостью, с торжеством находя там все больше примет близкого уже конца света. По-прежнему люто ненавидит он советскую власть, по-прежнему отказывается участвовать в выборах. «Предо мной губернаторы навытяжку стояли! Я — аглицкий подданный!» — с гордостью, с усмешкой говорит он агитаторам, а когда те слишком донимают его, стучит палкой и белеет от гнева.

Его разбивал уже паралич, моргает он теперь неровно: сперва быстро, как у птицы, падает левое веко, потом медленно взмаргивает правый глаз. Борода его грязного цвета постоянно дрожит, костлявый лысый череп с запавшими висками блестящ и желт, как у покойника. Он старчески неопрятен, нечист, и даже на морозе от него нехорошо пахнет. Но

и до сих пор не потерял Круглов крутого своего нрава. До сих пор, униженный, робкий, одряхлевший, он вдруг широко раскрывает мутные склеротические глаза, вздергивает голову, немощное тело его сотрясается от мгновенного гнева — и трудно тогда выдержать его взгляд.

Поразительным бывает иногда человеческое постоянство! Есть человек в городе, которого Круглов ненавидит уже десятки лет, имени которого не может слышать без того, чтобы не почувствовать сотрясающе-бессильной ярости. Чего бы не отдал, не сделал Круглов ради того только, чтобы увидеть врага своего униженным, растоптанным, чтобы насладиться сознанием своего первенства, превосходства! Как часто мучает, казнит, жжет огнем его Круглов в бессонные свои ночи! И враг этот, как ни странно, — Тихон.

Ненавидит и презирает его Круглов так долго и сильно, что чувство это превратилось у него в своего рода страсть, в душевный запой: не поговорить с Тихоном, не поиздеваться над ним он уже не может. И вот зимой, когда вечера Круглова особенно длинны и тоскливы, раза три в месяц слышит Тихон короткий звон под палкой Круглова, а спустя минуту видит знакомую и тоже ненавистную ему фигуру. Круглов подходит и останавливается под фонарем.

— Ну? — тяжело спрашивает Тихон.

— У вну... у внука был, — говорит Круглов, задыхаясь, шаря дрожащей рукой по полушубку. — Шел домой, сердце схватило... Думал, помру. Во рте таково сладко стало...

Тихон молчит, насупясь, поглядывает сбоку на Круглова: он не любит больных, боится разжалобиться.

— Ноги затряслися, — продолжает Круглов, немного отдышавшись. — Ноги мои, ноженьки... Второй раз это уже! Скоро, должно, помру... Кому привет передавать, Тихон?

— Чего тебе возля базы надо? — грубо обрывает его Тихон.

— А ничего. Так постоять... Добро свое вспомнить. Моя ведь это творения, — нарочито скромно и простонародно говорит Круглов. — Мой лабаз-то!

— Тво-ой? — Тихон насмешливо-сочувственно чмокает. — Ишь ты... Дела-а!

— Молчи, дура! — хрипит Круглов и яростно вонзает палку в снег.

И Тихон молчит.

— Помирать еще не думаешь? — немного успокоившись, спрашивает Круглов и оглядывает огромную фигуру Тихона. — Н-да... Лет на двадцать тебя еще хватит. А я вот боюсь, — таинственно говорит он и моргает. — Смерти-то боюсь! Я вот с тобой стою, хотя ты и босяк. Меня вся Расея знала, а я с тобой вот стою. А почему?

— Знала, да забыла Расея-то, наверно потому, — усмехается Тихон.

— Дура! Вот и врешь... Я домой боюсь идить. Придешь, ляжешь, в голове муторно и грудь давит. Давит грудь-то, как землей заваливает. Смерть, значит, дает себе знать! Тут я в бога верую, лампаду засвечу, «Господи!» — думаю. Днем то, се, ничего днем-то, а ночью... Лежу, слушаю: часы стучат, раз пробьют, еще... Птушки в клетке завозются — щеглы у меня, — оно и ничего.

— Живность, значит, любишь?

— Во-во! Люблю, чтобы возле меня живой был. Старуха жива была, так храпела... А сейчас один — дыху ничьего не слыхать, сердце одно свое слышу. Таково оно хрипло бьется. Ох, намучилось сердечушко мое, уж оно наму-училось! Не люблю своего сердца слушать. Думал тоже: кого завести? Кошку разве... Да не люблю кошек, не уважаю. Чернота в них, звериность, ну их! Собака у меня была, Дамка, приблудилась, черт! Здоровая сука, жрала много, так жрала — хоть баржами корми, все нипочем. Ну, убил я ее.

— Убил?

— Удавил! — Круглов чувствует скрытую ненависть в вопросе Тихона и смеется: «Вот оно, начинается!» — Гнал от себе, не идет, привыкла. А кормить

чем? С вашей властью себе не прокормишь! Не в силах я такую псину кормить. Ну, зазвал в сарай. «Дамка!» — говорю. Пошли... Пошли, значит, взял я веревку, петлю ей на шею исделал, глянула она на меня, поняла, видно, визгнула, ну я ее...

— Не пожалел, значит, — говорит Тихон, тяжело глядя на неестественно веселого Круглова.

— Дура! — с удовольствием отвечает Круглов. — Подумай! Чего ее? Ты знай, ни одна псина своей смертью не сдыхает, то есть всегда что приключится: задавит, утопнет, сбесится, а не то в спутник засодют... Такой уж предел им от бога положон!

— А и зол же ты! — равнодушно замечает Тихон. — Телом ты таракан, а злобы — на доброго коня. Гнилая у тебя душа...

— Ага-а! — Круглов добивается наконец того, зачем пришел, и сразу сотрясается от слепой ненависти. — Ага, о душе вспомнил! А когда раздевал-разувал меня, о душе моей думал ты? А? Кривишься, стерва, босяцкая морда? Круглов жил и другим давал жить! Мало я вас, сволочей, кормил-поил? Богадельня, где теперь техникум, чья была? А церкву, какую вы разорили, кто построил? А? А груз ты чей таскал? А любовницы... Любовницы-то мои, здешние же бабы... Они что же, добра от меня мало схапали? Бросал я их... Бросал, а не оставлял, дома им строил. А ведь жили же мы раньше, жи-или! Не вам, антихристам, не вам, беспортошным сукам, дуракам, чета! Я, бывало, работаю до седьмого поту — искры в глазах...

— От пьянства искры у тебя были, — мрачно-радостно вставляет Тихон.

— От пьянства! Знаешь, когда дурак умным бывает? Когда молчит. Молчал бы — от пьянства! Я пил — опять же весь город с меня богател. Сколько я тыщ-то просадил, где они? Я вот ночами не сплю, так все думаю, за что же нас разорили, неужто, думаю, раньше жизнь хужей нынешней была? Начну вспоминать, зуд по телу идет, каждый божий день вспомнишь, слезами изойдешь!

— Ду-умаешь... — передразнивает его Тихон и

мстительно смеется, хлопая рукавами тулупа себя по бокам. — Слезьми исходишь... Отлилися, значит, кошке мышкины слезки! А еще ничего не думаешь?

— Думаю и еще, — говорит Круглов и поднимает трясущуюся руку. — Скоро вам всем конец придет, ско-оро! Не долго вам осталось кровушку пить! Библия, она свое предсказание окажет, она ока-ажет! Ух, и загоритесь вы все, ух, и не сладко вам будет... Ты думаешь, атом-то, это тебе так? Так, да? Нет! Сказано: и восстанет брат на брата, и отец на сына, и умножится горе, и разверзнутся небеса, загорится земля и небо... Ага-а! Сами себя жрать будете, как шакалы аравийские, настроили на свою голову, сами же и сгорите, проклятые! Вспомните тогда Круглова! Вспомнишь, иуда, кто тебя поил-кормил и кого ты предал псам смердящим! Ограбили Круглова — ладно! Мне место уготовано...

— В пекле тебе место уготовано! — рычит Тихон, тоже возбужденный, взбудораженный наконец Кругловым. — Капиталы свои жалеешь? А как ты наживал их, а? Папашу-то своего мышьяком кто затравил? А племянника кто утопил? Молчишь, змея подколодная? Сколько ты душ-то по миру пустил, сколько слез сиротских пролилось-то? А из-за кого я пил, из-за кого бешеным дураком был? «Жи-или»! Чтоб ты на том свете так жил! Про Парижи помнишь, а про голода, про холеры не помнишь — твои-то детишки не мерли! От сладкости я хрип гнул на тебя, надрывался, чирьи по теле шли? Жизнь-то мою, молодость-то мою кто загубил, не такие-то, как ты, все душегубы, мать вашу, а? Я и не помню ничего — вся жизня, как один день, — это как же? Ты-то стенаешь по ночам, дюже прошлое жалеешь, а я вон в сторожке сяду ночью, подумаю, вспомнить ничего не могу. Мало вас таких-то расстреливали! Истязать вас надо за все, за всех голодных, за всех нас — под корень извести! Да ты... Слюнявый черт, ах ты... Убью я тебя! Не приходи ко мне — убью, доведешь ты меня, ты меня знаешь, ты меня помнишь, не трожь меня, сердца моего не береди... Я и так жалею, локти себе кусаю, что не достал тебя, не извел в семнадцатом го-

де... Слышь, купец, слышь — вот тебе крест святой, убью!

Тихон со страшным лицом хватает Круглова за воротник, ведет от фонаря. Воротник трещит, Круглов обмякает, молчит, послушно перебирает ногами, дрожит бородой.

— Погоди, весной плотину... кончат... зальет тебя, стерву проклятую! — задыхаясь, гудит, хрипит Тихон и толкает Круглова так, что тот падает.

Круглов с трудом поднимается, поворачивается к Тихону, в горле у него булькает, свистит.

— Не за... не зальет! — заикаясь от ярости, захлебываясь слезами, кричит он.

— Зальет! — уже гулко и бодро повторяет Тихон. — Кончены твои дни, сдохнешь скоро, купец, ваше степенство! Как здоровьице, ваше степенство? А? — вдруг вспоминает он. — А? Хо-хо-хо!

— Не зальет! — плачет Круглов. — Я тебе переживу! Моя кровь неумирущая!

Тихон смеется особенно радостно, особенно мстительно, а Круглов поднимает бороду, закидывает мокрое от слез лицо к черному небу.

— Господи! — отчаянно просит он и невнятно бормочет: — Бу-бу-бу-бу...

И уходит во тьму, жалкий, истерзавший себе сердце, в диком отчаянии вспоминая, воображая былую свою силу, власть, былую гордость и могущество, ничего не видя от слез. Уходит, чтобы молиться, чтобы утверждать еще и еще раз себя в близком конце света, чтобы глубоко ненавидеть все новое, молодое, непонятное ему, чтобы снова задрожать и задохнуться, увидев где-нибудь громадную фигуру Тихона. Уходит, чтобы, как алкоголик, как жаждущий, опять прийти недели через две к бывшему своему лабазу.

А придя, качаясь, приседая от слабости, прислоняясь к фонарному столбу, опять будет он терзать себя, проклинать, грозить страшными карами Тихону и всем, кто вместе с ним строит новую жизнь. И будет с тоской, с великой болью, мукой и радостью вспоминать старое — свою жизнь, свои успехи, богат-

ство, даже прошлые свои неудачи. И все прожитое, решительно все будет казаться ему сладостным, прекрасным, истинным, а все новое — чуждым, враждебным, непонятным и несправедливым. И опять, выведенный из себя, будет рычать на него, будет жестоко насмехаться и толкать его в шею Тихон.

И люди, знающие об этой удивительной в своем постоянстве, ставшей уже сказкой города вражде, старики, помнящие молодого Тихона, его дикость, его бешеный нрав, уверены, что когда-нибудь не миновать беды: убьет Тихон Круглова. А уверенные в этом, заранее оправдывают убийство — сам напросился!

1958



МАНЬКА

Посвящается К. Г. Паустовскому

1

От Вазинцев до Золотицы — тридцать верст. Дороги нет, идти нужно по глухой тропе, зарастающей мхом, травой, даже грибами. Маньке кажется иногда: не ходи она каждый день с почтой по этой тропе, все бы давно заглохло — блуди потом по лесу!

Манька — сирота.

— Батюшка в шторм потонул, — говорит она, опуская глаза и облизывая губы острым языком, — а матушка на другой год руки на себя наложила. Порато тосковала! Вечером раз вышла из избы, побегла по льду в море, добегла до полыньи, разболоклась, одежу узелком на льду сложила и пала в воду...

И, покраснев, невнятно договаривает:

— У меня матушка дикая была...

Дикость какая-то, необычность есть и в Маньке. Дремучесть, затаенность чувствуются в ее молчании, в неопределенной улыбке, в опущенных зеленоватых глазах. Когда года четыре назад хоронили ее мать, Манька, скучная, равнодушная, упорно смотревшая себе под ноги, вдруг поднимала ресницы и разгляды-

вала провожавших такими лениво-дерзкими, странными глазами, что мужики только смущенно откашливались, а бабы переставали выть и бледнели — пугались.

Года два уже работает Манька письмоносцем. В свои семнадцать лет она прошла так много верст, что, наверное, до Владивостока хватило бы. Но работу свою она любит. Дома неприглядно, пусто, скучно: скотины нет, сквозь давно не чиненную крышу повети глядит небо, печь полгода не топлена.

Худая, высокая, голенастая — ходит Манька легко и споро, почти не уставая. Выгорают за лето ее волосы, краснеют, а потом темнеют ноги и руки, истончается, худеет лицо, и еще зеленей, пронзительней становятся глаза.

Дует в лицо ей ровный морской ветер, несет удивительно крепкий запах водорослей, от которого сладко ломит в груди. По берегам темных речушек, заваленных буреломом, журчащих и желто пенящихся, зацветают к августу пышные алые цветы. Рвет тогда их Манька, навязывает из них тяжелые букеты. Или, отдыхая в тени серых, изуродованных северными зимними ветрами елок, украшает себя ромашками, можжевельником с темно-сизыми ягодами, воображает себя невестой.

Легко, сладко, вольно ходить ей, когда мало почты. Но иногда приходит много посылок, бандеролей, журналов. Тогда надевают на спину Маньке большой пестерь и плотно, тяжело нагружают его.

— Ну как, девка? — кричит тенором начальник почты. — Дойдешь ли? Может, за лошадью послать?

— Ничего... — сипло отвечает Манька, розовеет лицом и шевелит лопатками, поудобнее устраивая пестерь.

Уже через версту начинает ломить у нее спину и тяжелеют ноги. Зато сколько радости в эти дни у рыбаков на тонях! Какое оживление, веселье разгорается, как медленно, старательно, с каким смехом заполняются квитанции, и как любят рыбаки Маньку в такие дни!

— А ну, девка! — кричат ей. — Скидывай пестерь.

то, поспеешь еще дак... Садись с нами уху хлебать! Митька, ложку!

И кидается какой-нибудь белобрысый Митька со всех ног в чулан за ложкой, торопливо обтирает ее полотенцем, с шутливым низким поклоном подает Маньке.

— Семужки, семужки ей поболе! — покрикивают с разных сторон. И, краснея, опуская глаза, Манька садится и ест, стараясь не глотать громко, с благодарностью чувствуя заботу и любовь к себе рыбаков.

Зато с газетами и письмами идти хорошо, не режут плеч лямки пестеря, чего только не насмотришься в дороге, о чем не надумаешься! В три рыбачьих тони нужно зайти Маньке по дороге в Золотицу. Каждый раз ждут ее там с нетерпением, и никогда не обманывает она ожидания: вовремя зайдет, попьет чаю с брусникой, расскажет новости, отдаст почту, к вечеру приходит в Золотицу и ночует там. А утром, захватив обратную почту, идет к себе в Вазинцы.

2

Первая от Вазинцев тоня называется Вороньей. Жили там четверо рыбаков со стряпухой, а с лета, когда ночи стали золотеть, прибавился пятый — Перфилий Волокитин.

Черноволосый, стриженый, с крепким маленьким лицом, он по весне демобилизовался, месяца два жил дома, хотел подаваться в город, но вдруг загулял с Ленкой — самой красивой и озорной девкой в деревне, из-за которой не раз дрались в клубе ребята, — решил остаться и попросился на Воронью рыбаком.

Принес он на тоню гармонь, часто играл, бездумно глядя в море, был постоянно и ровно весел, был по-солдатски четок, расторопен, охотно брался за самую тяжелую работу, а вечерами брился, подшивал к гимнастерке ослепительные подворотнички, чистил сапоги, надевал набекрень фуражку и уходил в де-

ревню, в клуб, возвращаясь каждый раз на рассвете.

Был он еще силен и буен, ловок, неутомим в танцах, был находчив и насмешлив в разговоре, и Манька, встречаясь с ним в клубе, отдавая ему письма и газеты, стала вдруг краснеть и опускать глаза. Ночами, дома и в Золотице, стала она плохо засыпать — подолгу думала о Перфилии, вспоминала его лицо и голос, его слова и смех, воображала с пылающими щеками, что живет она с Перфилием в высокой новой избе окнами на море и все у них есть, а заснув, колотилась коленками в стену, бормотала во сне.

Она спала в Золотице, в душной натопленной избе, где ночевали еще человек восемь — бригада плотников, — когда под утро ей приснился вдруг Перфилий. Ярок, необычен и стыден был этот предрассветный сон, и Манька сразу проснулась, широко раскрыла свои зеленоватые глаза, вскинулась и села, ничего в первую минуту не чувствуя, кроме колотящегося сердца.

Всхрапывали спящие на полу и на лавках плотники, тлела за потными окошками белая ночь, и неслышно давилась, всхлипывала Манька, внезапно понявшая, что любит Перфилия, содрогаясь от жалости к себе, к своему худому, детскому еще телу, от ненависти к красивой Ленке, от мысли; что пропала, загублена теперь вся ее жизнь. И только на рассвете, сморенная, измученная, заснула она с мокрым от слез лицом.

Страшно стало ей после этого утра подходить к тоне, боялась выдать себя, боялась грубого рыбацкого смеха, вздрагивала, холодела, увидев Перфилия, услышав его голос, сердце у нее падало, губы пересыхали и мягко ныло в груди.

Вся сомлев, полуживая, уходила она от Вороньей, понемногу прибавляла шагу, чуть не бежала, забиралась в глушь, падала лицом в сухой белый мох и долго сладко плакала от радости, от любви, от одиночества и непонятости. Несколько раз блудила она в лесу, шла куда глаза глядят, улыбалась, разговаривала сама с собой.

А иногда выходила к морю, садилась на камень, сжималась в комок, пригретая солнцем, смотрела на чаек, на сине-зеленую гладь моря, раскачивалась и бормотала: «Чаечки, чаечки... Донесите вы к нему мою любовь!» И вспоминалась ей, как сквозь сон, старая ее бабка, давно умершая, давно ушедшая из этого мира, вспоминались ее сказки, ее вопли, и приходили сами собой, уверенно выговаривались дикие и вещие слова: «Стану я, раба божия Манька, благословясь, пойду перекрестясь... Из дверей в двери, из ворот в ворота́, выйду я в чисто поле... Так бы и он скрипел и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни ись!» Жутко становилось ей, громко стучало сердце, потели ладони, и особенно желанным, особенно недоступно-красивым был для нее в эти минуты Перфилий!

Море было неподвижным, шелковистым, едва заметно поднималось и опадало, будто дышало. Небо затягивало легкими светлыми облаками, пряталось в них солнце, светило мутным пятном. А там, над горбатым голубым мысом, падали в море веерообразные, бело-синие столбы света, и нестерпимо сияло, вспухало и как бы дымилось в том месте море. Лето стояло прекрасное, радостное, необычно теплое...

3

Однажды, уже в сентябре, Манька, еще более одичавшая за лето, подошла к тоне и настороженно остановилась. День выдался с утра ненастный, с ветром, с беспорядочным волнением на море. На рассвете прошел короткий крупный дождь, изба потемнела, приняла сразу осенний вид, скупо, бледно отсвечивала стеклами. Особенно много навалило на берегу в этот день водорослей, особенно много было на песке влажно-алых медуз, буро-желтых мелких звезд...

Вчера к вечеру попалось в ловушки много семги, сегодня в Вазинцах был престольный праздник,— стосковавшиеся рыбаки погрузили семгу в карбас и

все вместе поехали сдавать ее на рыбоприемный пункт, а заодно попариться в бане, переночевать дома и погулять на празднике.

Поехал вместе со всеми и Перфилий, вечером пошел в клуб, послушал гармошку, сам немного и пренебрежительно поиграл, потом бросил, стал грызть подсолнухи, стал особенно громко острить, потом выпил с ребятами на улице, темные красивые глаза его начали косить, голос слегка охрип, он все больше возбуждался, расталкивал ребят и девок, враскачку входил в круг, закинув суховатое маленькое лицо, лениво прикрывая глаза, постукивал, поскрипывал хромовыми сапогами и равнодушно, под радостный гогот ребят и притворную ругань девок, выпевал похабные частушки...

И весь вечер хищно, трепетно следил за Ленкой, и что бы ни делал — делал ради нее. А когда всех выгнали из зала, стали расставлять лавки и продавать билеты в кино, он нашел ее в толпе, крепко схватил за руку, вывел в сени, где хрустела под ногами подсолнечная шелуха и пахло уборной, прижал к стене и, все больше бледнея, кося глазами, зашептал:

— Пойдем к тебе... Что ж ты со мной делаешь? Пойдем, дома посидим...

— Дома я всегда насижусь, — бойко, равнодушно сказала Ленка, не глядя на Перфилия, жадно прислушиваясь к тому, что делалось в клубе.

— Не хочешь, значит? — с угрозой и бессилием спросил Перфилий, вдыхая запах пудры и волос Ленки. — Другого нашла? Из морячков, да? Смотри, не пожалела бы! Смотри, потрешь на кулак слезы...

— Пусти! — шепотом приказала Ленка, грубо и сильно рванулась и, не взглянув на Перфилия, ушла опять в клуб, сильно хлопнув дверью. А Перфилий впервые заметил, какая у нее раздражающе высокая грудь, какие жадные и крупные руки, какое жестококрасивое лицо и как нагло, вызывающе покачивает она на ходу бедрами.

Он вышел на темную улицу, освещенную редкими фонарями, на бодрящий холод, отрывая пугови-

цы, расстегнул гимнастерку, снял фуражку и пошел домой, вздрагивая от ярости и стыда, крепко стуча сапогами по деревянным мосткам. Из дому, не слушая уговоров матери, захватив с собой бутылку водки, хлеба и сала, он спустился к морю, сел в карбас и через два часа был у себя на тоне.

Он вошел, разгоряченный злобной греблей, зажег лампу, не присаживаясь к столу, налил стакан водки, выпил и сжал зубы, моргая, ероша отросшие за лето жесткие волосы. Потом вышел из избы, сел на бревне, закурил и долго остекленелыми глазами смотрел в темноту, в холод моря, туда, где летом катился ночью по горизонту огромный тускло-багровый диск солнца и где теперь все чаще дрожали, зыбко светились и устало потухали голубые столбы северного сияния.

И когда утром, настороженная необычной тишиной, вошла в избу Манька, Перфилий спал на своей койке в углу, раскинув ноги, с заголившимся мускулистым животом, завернув голову телогрейкой. Услышав стукнувшую дверь, он проснулся, тупо посмотрел на Маньку, потер лицо.

— А! Пришла... — сказал он хмуро и сел к столу, обхватив голову руками. — Письма есть?

— Нету... — Манька опустилась на лавку, стыдливо поджала ноги и перевела дух.

— Нету! А чего принесла?

— Газеты, — Манька кашлянула и облизала губы.

— Газеты! — Перфилий мрачно посмотрел в окно. — Шторм будет! Как бы ловушки не сорвало... В деревне-то чего у нас? Уехали, суки, гулять им надо!

Он тяжело поднялся, пошел к ведру напиться, оглядывая съежившуюся фигуру Маньки.

— Чего это ты сегодня какая-то... — невнятно спросил он и, закинув голову, раздувая горло, стал пить.

— Какая? Никакая... — прошептала Манька, краснея до смуглоты, наклоняясь, разглаживая платье на коленях.

— Все одна живешь?

— Одна...

— Скучно одной-то, — без выражения сказал Перфилий, глядя в окно.

— Живу... — Манька слабо двинула рукой, кашлянула, встала, подошла к ведру и тоже стала пить, наслаждаясь от мысли, что пьет из той же кружки, из которой только что пил Перфилий.

— Идти мне надо, — сипло сказала она, снова садясь и поднимая на Перфилия испуганный взгляд. Но Перфилий не слышал ее — смотрел в окно и молчал.

— Шторм идет! — сказал он глухо. — Метеористы чертовы! Три балла сегодня по метеосводке...

Манька тоже взглянула в окно. Море потемнело, билось в берег, ветер посвистывал в вешалах. Волны шли быстро, пенясь, налезая друг на друга, а по горизонту росла, приближалась черно-лиловая полоса.

— Шторм идет, а они гулять поехали! — горько и грубо повторил Перфилий, вспомнив Ленку, пошел за занавеску, стал натягивать брезентовые штаны и куртку.

— Куда ты? — спросила Манька, обмирая. — Куда ты, ай утонуть хочешь?

— Куда! Ловушки в море стоят, выбирать надо! — пробормотал Перфилий и вышел вон. Манька, приоткрыв рот, прислушалась к ветру, потом глянула в окно на полосу, которая значительно расширилась за эту минуту, и опрометью выскочила вслед за Перфилием. Ветер туго ударил ей в лицо. Перфилий возился у карбаса, когда Манька подбежала к нему.

— Ну? — Перфилий недовольно повернулся к ней и, не дожидаясь ответа, стал спихивать карбас по каткам к воде.

— Я с тобой, — сказала Манька и тоже уперлась плечом в карбас.

— Еще чего! Детский сад! — заорал Перфилий, когда карбас уже прыгал и бился по песку. — Пошла в избу!

— Не пойду! — Манька вцепилась белыми пальцами в борт. — Чего я, моря не видала?

— Ну так прыгай! — весело вдруг и с какой-то отчаянностью закричал Перфилий и оскалился. — Лезь!

Манька ловко вскочила в карбас, падая с борта на борт, пробралась на корму. Перфилий, побагровев, оттопыривая зад, по пояс в воде, толкнул карбас, подпрыгнул, упал животом на борт, перевалился внутрь, схватил весла и стал заворачивать карбас на волну. Через минуту они уже ходко шли, поднимаясь и проваливаясь, к черным кольям ловушек, поставленных метрах в двухстах от берега. Манька сильно подгребала, слизывая с губ соленые брызги, ветер раздувал ее волосы. «Платок забыла! — думала она. — Ой, потонем мы, ой, ветер порато дует!» И влюбленно глядела в закинутое, решительное, красное от напряжения лицо Перфилия.

Подошли к первой ловушке и с ходу, спеша, боясь даже глядеть на приближающуюся черную полосу, стали вытаскивать колья и укладывать их вместе с сетью в карбас. Манька то подтягивала сеть, то выбрасывала черпаком воду. У нее скоро заломило руки и ноги, платье намокло, задралось, оголились пятнистые от холода крепкие узкие бедра, показался край розовых штанов. Маньке было стыдно, но она уже не могла выбрать минуту оправить платье. А Перфилий и не смотрел на нее, колья были вбиты крепко, он раскачивал их, карбас бросало, волны становились все выше, надо было спешить.

Минут через пятнадцать ловушка была снята, пошли к берегу. Карбас осел. Перфилий бешено греб, глядя на что-то, что приближалось с моря. Манька сидела лицом к берегу, подгребала, вычерпывала воду и боялась оглянуться.

— Стой! — дико заорал Перфилий. — На берег не выедем, кидай в воду, отсюда не унесет!

Выбросив ловушку, которую тотчас с ревом потащило на берег, они повернули опять в море. Теперь лицом к морю сидела Манька, полуживая от ужаса. Ни неба, ни облаков, ни моря вдали не было. Было что-то черное, туманное, бесстыдно, нагло возбужденное, взлохмаченное, и в черноте этой одни гребни волн холодно и жестоко белели. До второй ловушки

еле добрались сквозь ветер. Перфилий выгибался, закидывался при каждом гребке, у Маньки подламывались руки...

И опять цеплялся Перфилий за колья, раскачивал их, опять ходуном ходил карбас и, когда поднимался, задирал нос, заваливаясь набок — голова и руки Перфилия скрывались за бортом. Округлив от ужаса глаза, Манька видела тогда только его напряженный зад и раскоряченные ноги в мокрых блестящих сапогах. Выдранный из грунта кол прыгал вверх, Перфилий отваливался назад, втаскивая сеть в карбас. В этой ловушке было несколько семг, метались брусковатые сиги, но на них не обращали внимания.

Наконец подошел настоящий шторм, волны сразу покрылись пеной, полетела водяная пыль, от берега стал доносится сплошной рев: там по песку шел чудовищный накат, доставая почти до тони. Море начало приобретать шоколадный цвет. Вторая ловушка была почти вся в карбасе, оставалось втащить только полотно правой стенки, когда карбас полез на волну, встал почти вертикально, падая в то же время на бок, перевернулся и оглушенная, задохнувшаяся Манька оказалась под ним.

Она уже ничего не понимала в темноте, ей хотелось света, воздуха, хотелось увидеть Перфилия, а она стукалась головой о скамейки, тонущая сеть запуталась у нее в ногах, тащила за собой. «Господи! — гудело у нее в голове. — Мамочка, ой, пропала я совсем, ой, пропала!»

Что-то шаркнуло ее по ноге, она брыкнулась, вцепилась в скамейкv, прислонила лицо ко дну, — тут еще оставалось немного пахнущего рыбой воздуха, — и завыла. И опять, скользнув по ногам, схватили за бедра, за платье резкие злые руки, жестоко дернули вниз, Манька захлебнулась, давясь, уже по-звериному вырываясь, изгибаясь, — а ее все так же больно, грубо рвануло кверху, прижало к пузатому рубчатому боку карбаса: Перфилий, отплевываясь, заголяя напряженную, с выступившими позвонками спину, карабкался на киль, тащил за собой Маньку.

— Чего под карбасом болтаешься, дура! — счаст-

ливо заорал он ей в самое ухо, крепко прижимая ее к себе, держась за осклизлый киль. — Держись! К берегу несет, выплывем!..

Манька, мотаясь, кашляя, ничего не видя сквозь слезы, задыхаясь от влажного соленого ветра, от водяной пыли, одной рукой вцепилась в киль, другой — обняла Перфилия за шею и замерла, закоченела.

— Ничего! — весело, надсадно орал Перфилий, ерзая сапогами по днищу карбаса. — Живем! Кто у моря не живал, тот и горя не видал!..

А море ревело, будто громадный буйный зверь, и, будто зверь, поднимало, опускало на своей спине опрокинутый карбас, все ближе поднося его к берегу. Уже через полчаса, поблескивая круглыми боками, карбас плясал в ревущем прибое. Волной подхватывало его, выносило на берег, потом волна разбивалась внизу, а карбас, окруженный шипящей пеной, сначала медленно, затем все быстрее мчался назад, чтобы снова, поднявшись на волне, броситься на берег.

Внезапно все стихло, слышно стало шипение скатывающейся назад воды, а сзади послышался нарастающий, как от поезда, гул. Перфилий оглянулся и чуть не выпустил киль: неслась на них зловещая, закрученная, поплескивающая сверху волна. Она ударила в карбас, который не успел взобраться на нее, перевернула его, понесла на берег, гулко хряпнула о песок, и последнее, что помнила Манька, — это как несло ее куда-то, ударяя лицом, спиной, локтями о песок, ломая, вывертывая руки и ноги.

Очнулась Манька на берегу. Перфилий стоял возле нее на коленях, приподнимал ей голову. Маньке стало стыдно, она оттолкнула его и села, оправляя платье, прикрывая заголившиеся ноги. Ее тошнило, голова кружилась, плавали в глазах мушки.

— Никак жива! — обрадовался Перфилий. — Погоди тут, я сейчас...

Он тяжело побежал по песку туда, где, как живой, ерзал в пене лоснящийся карбас, забрел по пояс в воду, поймал конец, поволок карбас на берег. Потом, снова забредя в мутно-белый шипящий раскат,

ухватил ловушку и, наклоняясь почти до песка, дрожа ногами, вытащил на берег и ее. Запыхавшись, хлопая голенищами сапог, мокрыми полами куртки, он вернулся к Маньке. Она еще сидела, не в силах подняться.

— Ну что ты! — притворно-укоризненно и бодро сказал Перфилий. — Ничего, ничего... А ну, берись за шею — понесу! — крикнул он, нагибаясь, тревожно заглядывая ей в лицо.

Но Манька отвернулась и встала, качаясь как пьяная, со слабой виноватой улыбкой на белом лице. Они пошли рядом. Перфилий обнимал, поддерживал ее за спину, чувствовал ее худые лопатки, ширкал голенищами сапог, все больше оживляясь, посматривая на море, загораясь, говорил, смеялся над собой, над Манькой, над штормом, будто не он минуту назад держался за киль, хрипло, надсадно орал, напрягался и с ужасом глядел на волны.

4

В избе Перфилий растопил печку, стащил с себя все мокрое, переоделся, вынес штаны, свитер и куртку Маньке, ушел в сени и жадно закурил там, рассматривая дрожащие, в ссадинах руки.

— Скоро ль, что ль? — закричал он через минуту.

— Ой! Сейчас! — испуганно отозвалась Манька и заторопилась, с усилием стаскивая прилипшее к телу платье и рубашку. Одеваясь в сухое, путаясь с непривычки в длинных штанах, она покосилась, потрогала свою еще чуть припухающую грудь, тяжело вздохнула.

— Ну? — опять крикнул Перфилий из сеней.

— Иди! — смущенно разрешила Манька, торопясь, опуская глаза, стесняясь мужской одежды, быстро вынесла вон все свое мокрое, выжала и развесила на ветру.

— Ну-ка! — встретил ее Перфилий. — Поди сюда! Сейчас лечиться будем по последнему слову науки и техники...

Он посадил Маньку за стол, на лавку, достал из-под койки начатую вчера бутылку водки, налил в стаканы ей и себе.

— Выпьем! — сказал он жарко, глядя ей в лицо. — Пей, пей! Подымем стаканы, содвинем их сразу... Это от простуды. С благополучным приземлением вас...

Он выпил первый, подышал открытым ртом и тотчас налил в кружки чаю. Манька тоже выпила, задохнулась, затрясла головой. Она быстро опьянела, зарозовела, зеленые глаза ее замерцали. Вся обмирая, ужасаясь, все больше, острее хотела она только одного: чтобы обнял, поцеловал ее Перфилий.

И Перфилий, взглянув на нее, вдруг замолчал и побледнел. Отодвинув кружку с чаем, он встал, легким хищным шагом вышел из избы, быстро посмотрел в обе стороны: берег был пустынен. Он вернулся, напряженно сел, стал жадно, открыто разглядывать Манькино лицо с пылающими щеками, влажные еще, курчавившиеся волосы, опущенные золотистые ресницы, уже понимая причину ее молчания, ее странности, опущенных глаз, сиплого голоса. Грозно, гулко шумело за стеной море, а в избе было тепло, сухо, трещала печка, пахло рыбой.

— Тебе лет-то сколько? — быстро спросил он изменившимся голосом.

— Идти мне надо... — слабо сказала Манька, приподнимаясь, и тут же села.

— Лет-то сколько тебе? — опять спросил Перфилий, стараясь заглянуть ей в глаза.

— Девятнадцать...— соврала, прошептала Манька, отвернулась и почувствовала, как холодеют у нее руки и кружится голова. И вспомнила вдруг, будто облитая холодом, свою летнюю тоску, свои слезы, весь стыд первой тайной любви, все отчаяние призрачных белых ночей — сладкий ужас охватил ее: сидел рядом Перфилий, смотрел на нее страшными глазами, сбывались ее сны! «Чего же это! — подумалось ей. — Ай он кинется на меня сейчас! Мамочка, чего же это!» — и дико взглянула в лицо Перфилию.

— Эх! — вскрикнул он в нарочитом отчаянии и,

легко притворившись тоже диким, придвинулся по лавке к ней, схватил, запрокинул ей лицо и, перекосив глаза, жадно и долго поцеловал ее, бесстыдно шаря свободной рукой по ее щуплому телу. Манька обомлела, помертвела...

— Чегой-то ты! — вырвалась она. — Проклятый! Да ты чегой-то!

— Сердце у меня слабое... — смущенно забормотал Перфилий, поднимаясь и двигаясь к ней.

— Дурак! — чуть не плача, хрипло закричала Манька. — Своих лахудров целуй... А меня не трожь! Я... я тебе не кто-нибудь!

— Маня! Манюша... — уже растерянно, покаянно просил Перфилий. — Погоди ты, я ж к тебе по-хорошему!..

— Я тебе не какая-нибудь! Ленку свою целуй, ступай к ней! А я еще неце... нецелованная! — с усилием выговаривала Манька, вся трясясь, и вдруг отвернулась, прерывисто дыша, расстегнула куртку, бросила на пол. — Уйди, проклятый! — сказала она низко. — Мне почту... Почту надо...

Она переоделась, уже не боясь, что войдет Перфилий, дрожа от ярости и какого-то сладкого, мстительного чувства, взяла сумку и, низко наклонив голову, не простясь с топтавшимся в сенях и курившим Перфилием, пошла.

Она отошла уже порядочно, когда, простоволосый, в опорках на босу ногу, догнал ее Перфилий.

— Вот тут у меня было... — забормотал он, суя в сумку ей шоколадные конфеты. — Это тебе на дорогу. Не обижайся, Маня... Простишь, а? А с Ленкой у меня все! — отчаянно и грустно сказал он. — Стерва она, гуляет...

— Уйди! — сказала Манька, глядя в сторону. — Отстань!

— В субботу в клуб придешь? — спросил Перфилий, быстро шагая рядом.

— Почта у меня, — по-прежнему глядя в сторону, сказала Манька.

— Ну в воскресенье! — не сдавался Перфилий. — Мне тебе что-то сказать надо... Приходи, Маня, а?

— Не знаю, — помолчав, невнятно сказала Манька и ускорила шаг. Перфилий отстал.

«Как же! Так и приду, жди! — думала Манька, низко наклонив голову, слушая приглушенный расстоянием шум моря. — Дуру какую нашел... Чего я пойду? С конфетами... подлизывается!» Она запустила руку в сумку, нащупала конфеты, сжала, но не бросила почему-то, как сперва хотела, так и шла, сжимая конфеты в руке.

На повороте она оглянулась, будто кто-то толкнул ее в спину: Перфилий стоял на дорожке, на том месте, где отстал, и смотрел ей вслед. Увидев, что Манька обернулась, он поднял руку, и Манька сейчас же заторопилась, заспешила, еле удерживаясь, чтобы не побежать. А пройдя с полверсты, она присела, настороженно осмотрелась, свернула в кусты, в золотисто-желтые березки, в мох и легла там, лицом на сумку. «Ах, да что ж это приключилось... Как же я теперь письма им буду носить!» — думалось ей.

Лицо ее горело, голова кружилась от свежего, чистого, рыбацкого запаха Перфилия. Видела она близко его темные, шальные, перекошенные глаза, замирала, вновь переживая весь ужас, всю радость, весь стыд сегодняшнего дня. И уже весело, мстительно, томительно-уверенно звучали в ней все те же дикие и вещие слова: «Так бы и он скрипел и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни ись!»

1958



ОЛЕНЬИ РОГА

1

Уже много дней живет она в доме отдыха на берегу моря. После долгой болезни приехала она сюда, и первые три дня не выходила из дому, сидела на гулкой холодной веранде, грустно смотрела на прыгающих по соснам белок.

На четвертый день она просыпается рано утром, когда за окном стоит еще полутьма медленного весеннего рассвета. Она одевается, выходит на крыльцо и начинает розоветь от холода, от запаха мартовского снега, от вида поросших соснами холмов, от утренней чистоты и тишины. Она осторожно сходит на подтаявшую вчера днем и замерзшую за ночь дорожку, расставив руки, делает несколько шагов. Льдинки хрустят, звенят у нее под ногами. Этот хруст и звон прозрачен, громок и что-то напоминает ей, давно забытое, до сердцебиения сладкое и тайное. Не оглядываясь, она все дальше уходит от дома, поднимается на холм, видит внизу замерзшее море с темной полосой свободной ото льда воды у горизонта, видит, как постепенно все светлеет кругом и как

наконец встает солнце, еще неярко-белое, еще бессильное.

Возвращается она пахнущая морозом, и когда проходит столовой, здоровается с отдыхающими, — низко наклоняет лицо, прячет улыбку, прячет одурманенные глаза.

Как все выздоравливающие, она делается беспричинно счастлива, и счастье ее особенно свежо и остро, потому что ей шестнадцать лет, потому что глаза ее загадочны, темны и влажны, потому что она одна и свободна, а воображение ее наивно и романтично. И еще потому, что необычайным, сказочным кажется ей все вокруг.

Каждое утро восторгом сотрясает ее глубокий добрый голос диктора: «Руне Рига! Парейзс лайкс...» Каждое утро, хрустя каблуками, ставя ноги во вчерашние свои следы, идет она к холмам, — вытягиваясь, закидывая тонкое лицо, ломает вербу и ставит ее дома в вазу. И все дольше бродит совершенно одна в сосновых борах, выходит к морю, замирая от страха, идет по льду и наконец останавливается, еле переводя дух, боясь пошевелиться, чувствуя, как покачивается, волнуется лед.

Потом она идет обратно и с задумчивым любопытством осматривает заколоченные на зиму пустые дома. Ей делается отчего-то жутко-весело, как будто входит она в фантастический мир сказок, которыми, стыдясь, втайне от всех, зачитывается еще и сейчас. Она ни с кем не знакомится в доме отдыха, только аккуратно здоровается тонким голоском, едва не приседая по-школьному, пламенея, смущаясь, боясь взглянуть на того, с кем поздоровалась.

Ее одиночество, свобода, ее прогулки нравятся ей все больше, она боится даже думать о времени, когда придется ей уезжать отсюда. Но чем чаще она уединяется, чем взрослее, строже хочет казаться на людях, тем больше видна в ней девочка.

Однажды ее встречает молодой лыжник. В вязаном свитере, с тонкими сухими ногами, — он замедляет бег, останавливается и долго смотрит ей в спину. А она спешит пройти, упорно глядя себе под ноги,

стараясь притвориться рассеянной, не замечая, какой пугливой делается вдруг ее походка. С этого дня он часто прибегает сюда на лыжах, взлетает на холмы, оглядывается, но больше уже не встречает ее...

Стоят в лесу дома, один красивее другого, светит солнце, лежат у заборов, у деревьев сине-зеленые тени, прыгают по соснам белки, зеленеет, желтеет на бетонных столбах оград плотный мох. А ночью тягуче вызванивают часы-куранты на кирхе, редко в два тона гудит электричка, потрескивает дом, шуршит в водосточной трубе лед, и шумит вдали море. Остро, колко пахнет зернистым снегом, сосновой корой и горькими липкими почками. С каждым днем все продолжительнее, все стекляннее вечерняя заря, все глубже и холоднее по тону небо над ней, все синее и пронзительней на востоке звезды. А когда закат погаснет, подернется слабой желтизной, переходящей в зелень, в лиловость, — черными тогда кажутся на его фоне деревья, дома с прозрачными верандами, кирха и крест на ней.

Ночью девочка летает во сне над холмами, слышит тихую музыку, и у нее щемит сердце от страха и восторга. Проснувшись, чувствуя головокружительную легкость, она важно думает о том, что с ней происходит. А происходит с ней что-то необычное, совсем ей непонятное. Она почти не отвечает на письма, она влюблена в глухие боры, в музыку, в одиночество. Она любит заброшенность, безмолвие, любит тихие солнечные поляны, заросли краснотала, сизо-серебристые канадские ели, каменистые мрачные гроты в холмах.

Вечерами в доме отдыха, в гостиной со старинной мебелью растапливают камин. Трещат поставленные стоймя березовые дрова, пляшут на стенах багровые пятна, слегка пахнет дымом и светятся большие холодные окна, выходящие на запад.

А она уже ждет этой минуты, на цыпочках спускается в гостиную, забирается в кресло и смотрит в огонь огромными блестящими глазами. Иногда, оглянувшись на окна, прислушавшись к говору отдыхающих в далекой столовой, она подходит к оре-

ховому кабинетному роялю и открывает крышку. Клавиши рояля смуглы от времени, туги и холодны. Нажав на скрипящую педаль, она ударяет по клавише и слушает томительный, затихающий звук. Ей хочется вспомнить музыку, слышанную во сне. Она подбирает аккорды, пальцы ее холодеют, ее знобит, ей кажется уже, что вот-вот она все вспомнит... Нет, все не то, не так, все не похоже! И, осторожно закрыв крышку, подышав на лак и оставив на нем туманное пятно, она опять забирается с ногами в кресло, опять рассеянно смотрит в огонь, слушает треск, с наслаждением ощущает странно-печальный, какой-то домашний запах березового дыма. «Что со мной! — изумленно думает она. — Отчего так болит, ноет сердце? И отчего эта боль так сладка?»

С некоторых пор ее внимание привлекает один пустой дом. Стоит он на большом участке, под деревьями, и еле виден из-за ограды. Двери его забиты, окна закрыты деревянными жалюзи, крыша под темной черепицей высока и остра, крыльцо занесено снегом — оттаяли только верхние ступени. Под окном в мезонине прибиты к стене лаково-коричневые рога оленя, а окно почему-то не загорожено и вместе с верандой бледно отсвечивает на закате. Снег вокруг дома нетронут, чист, участок особенно велик, особенно глух, ограда особенно высока и прочна. Только в одном месте выломаны планки, и в дыру лазят собаки. Оставляя глубокие отчетливые следы, все они бегут к старой кряжистой сосне, а от нее — веером куда-то в глубь участка.

Оленьи Рога — так называет девочка дом и участок вокруг него. И почти никуда уже не ходит, а идет каждый раз к Оленьим Рогам, с удовольствием видит свои вчерашние следы, убеждается, что никто больше не побывал здесь, садится на пень, подтыкает под коленки пальто и замирает.

Она думает о заколоченном доме. Она воображает его пустые, гулкие, сумрачные комнаты, тишину по ночам, тонкие лунные иглы, пробивающиеся сквозь ставни.

А поляна полна блеска, света, солнце напекает

так, что тает смола на солнечных сторонах сосен, стволы верб потеют, стоят в темных талых лунках, и пушисты уже, туманно-сизы и гибки их набухшие ветки.

2

Случается это в день, когда особенно тепел и прян весенний воздух, особенно кружится, туманится голова и томительно замирает сердце, — девочка вдруг тихо ахает, закрывает рот руками и смотрит во все глаза на дом: наверху, в мезонине, отворяется окно и наружу выглядывает человечек!

Он вылезает задом, достает ногами до оленьих рогов и крепко хватается за отросток. Тотчас же просовывается через окно длинная тонкая лестница. Человечек устанавливает ее и первым спускается вниз, на крыльцо. За ним следом спускается другой. «Да это же тролли! — догадывается она. — Волшебные карлики! Они живут в этом заколдованном доме!» И, пригнувшись, приоткрыв рот, она следит блестящими глазами за обитателями дома.

Одеты они в старинные одежды: чулки и короткие штаны, длинные лиловые камзолы. Оба бородаты и важны, оба в красных колпачках с кисточками, оба курят старинные голландские трубки. Усевшись рядом на верхней теплой ступеньке крыльца, они свешивают ноги, поднимают лица к солнцу и замирают. Только то у одного, то у другого вылетают изо рта, из зеленоватых бород клубочки дыма.

Дым несет в сторону спрятавшейся девочки, она чувствует странный аромат юга, благоухание тропиков, она часто, глубоко дышит, а воздух дрожит, струится, шорохи слышатся со всех сторон — падают с елей и сосен комки снега... Тролли вдруг встают и деловито, друг за другом, идут по синему снегу к зарослям вербы. Там они долго нюхают что-то, выкапывают и рассматривают, поднося близко к глазам, какие-то корешки. Потом вытирают руки и начинают играть, кидая друг в друга пушистыми шариками вербы, бегают неторопливо, с достоинством,

сохраняя на лицах задумчивую важность и не выпуская изо рта трубок. Наигравшись, они бредут к крыльцу, поднимаются в окно, втягивают лестницу внутрь. Окно захлопывается, и дом опять кажется необитаемым.

Еле переводя дух, одурманенная солнцем и дымом из трубок троллей, тихая и строгая — девочка идет домой, больше всего боясь, что по лицу ее узнают, что́ с ней произошло, начнут расспрашивать, допытываться... И весь день она сама не своя, смотрит на все вокруг совсем одичавшими глазами, мучась сомнениями, уже не веря тому, что видела, — и еле может дождаться ночи.

А ночью она ложится не раздеваясь и думает о троллях. Ей не спится, голова горит, пересыхают, трескаются губы. На кирхе бьют куранты, дом отдыха безмолвен, но ей кажется, что кто-то ходит по комнатам, заглядывает в окна, трогает клавиши рояля в гостиной.

Изнемогая от волнения, страха, от радостного озноба, она встает, прислушивается, замирая и дико оглядываясь, выходит на крыльцо и опять, как и в первый раз, болезненно поражается тишине, острым синим звездам и запаху снега.

Боясь оглянуться, бежит она парком, запыхавшись, выбегает на улицу и идет мимо спящих домов, мимо магазинов с запертыми ставнями, под фонарями, постукивает каблуками по рубчатым каменным плитам тротуара и наконец сворачивает к морю, к лесу, к Оленьим Рогам.

Остаются позади фонари, сразу глохнет и голубеет все вокруг, подступают к тропинке черные сосны и ели, становится виден свет луны. У оград лежат резкие глубокие тени, снег сияет и как будто дымится.

Подойдя к Оленьим Рогам, она поднимается на цыпочки, смотрит в глухую тьму частых деревьев: сквозь жалюзи дома пробивается свет. Будто во сне, идет она вдоль ограды, доходит до выломанных планок, нагибается, пролезает в дыру. Сначала она широко и редко шагает по залубенелой тропе, протоптанной собаками, потом сворачивает напрямик к до-

му. Снег плотен, зернист, глухо хрустит под ногой. Хруст его похож на звук разрезаемого арбуза.

Она подходит к дому и останавливается. В доме горит огонь, из трубы поднимается прозрачный дым, по снегу бегут слабые шевелящиеся тени. Внутри играют на флейте, на незнакомых струнных инструментах. Звук флейты, пустой и нежный, размеренные, глуховатые аккорды струн выпевают, наигрывают старинную мелодию, изящную и медлительную. Но ведь это та самая музыка, которую слышала она во сне! И она тотчас же вспоминает свои легкие призрачные сны, сразу узнает все, как она летала здесь, перелетая с холма на холм, отталкивалась, плыла в воздухе между редких сосен, в дымных столбах лунного света, и наигрывала, наигрывала нечеловечески-прекрасная музыка... Кто же так играет?

Она подходит еще ближе к дому и видит сквозь косые прорези ставен трепещущий шафранный свет на потолке, уродливые двигающиеся тени. Крепко прижав руку к груди, она заглядывает в щель ставня.

Горит, рубиново пылает большой камин, стоит посреди комнаты грубый стол и такие же неуклюжие, высокие стулья. На столе — бочонок с вином, оловянные кружки, круглые головки сыру. За столом сидят тролли. Их много, все они бородаты, все комично-серьезны и важны, пьют, едят, играют в карты и курят. С такими же важными лицами сидят на обрубках возле камина другие тролли, и самый древний из них, надвинув на глаза колпачок, отведя в сторону и согнув острым углом руки, играет на флейте. Остальные серьезно, печально перебирают струны инструментов, похожих на лютни. И лишь лица танцующих немного оживлены. Танцуют они по-старинному, движения их плавны и округлы, поклоны изящны и почтительны. А комната полна дыма, озарена светом тонких розовых свечей в медных подсвечниках. «Что все это значит? — думает девочка. — Что за волшебный дом! И что, если я войду к ним!»

Она отходит от окна, поднимается на крыльцо и трогает дверь. К ее удивлению, дверь подается, музыка становится отчетливее, громче, будто звучит,

играет сам дом, будто поют его старые балки и танцует мебель, оставленная хозяевами.

Девочка проходит веранду с разноцветными стеклами, ощупью идет по коридору, робко открывает дверь в комнату, где веселятся тролли, — и сразу меркнет огонь в камине, обрывается музыка, вздрогнув, останавливаются танцующие. Дико и грозно смотрят тролли на нее. Она хочет сказать им что-то прекрасное, приветливое, шевелит губами, но не может сказать, не может произнести ни звука. Зато глаза ее сияют, зато лицо ее пылает от смущения, любопытства и радости, вся она тянется к троллям, и они сразу успокаиваются.

Но потаенность их жизни нарушена, — они встают, убирают еду со стола, собирают карты, открывают люк, гасят свечи и огонь в камине и по очереди, серьезно и медленно, кланяясь каждый внезапной гостье, уходят под пол.

Остается один только тролль, самый старый, самый важный и уродливый, тот, что играл на флейте. И она вопросительно, умоляюще смотрит на него, ждет, что он ей скажет. Но ничего не говорит он, подходит к люку с последней свечой в руке и тоже начинает спускаться. В последний миг он оборачивается и пристально смотрит на нее. В его взгляде — тайная доброта, обещание чего-то прекрасного, чего-то необыкновенного. Что-то говорит он ей глазами, своим тысячелетним мудрым лицом, своим вещим знанием печалей и радостей жизни, но она не понимает его, и ей больно от этого. Он же прикладывает палец к губам, значительно качает головой, дует на свечу и захлопывает над собой крышку люка.

С трудом выходит она в темноте на крыльцо и садится на ступеньку. Щеки ее горят, сердце колотится. «Почему он мне ничего не сказал? — горько думает она. — Ах, да! — они ведь не могут с нами говорить... А он хотел сказать, я это видела. Ужасно интересно!»

Внезапно она чувствует чье-то присутствие за спиной, оборачивается и снова видит старого тролля. Опять он смотрит на нее с задумчивой доброжела-

тельностью, лицо его теперь, при лунном свете, еще более значительно-таинственно, умно и веще. Но он так мал и хрупок, что ей хочется погладить его бороду и потрогать шапочку. Молча он кивает ей, прыгая со ступеньки на ступеньку, спускается с крыльца, оглядывается, манит ее. Она встает и послушно идет за ним. Он подходит к окну, в щель ставня которого она увидела веселящихся троллей, и показывает на него рукой. Замирая от предчувствия, она заглядывает в щель и тихо вскрикивает.

Вместо комнаты она видит солнечный день, холмы, поросшие соснами, и знакомого лыжника, беззвучно скользящего с холма на холм. Она видит его разгоряченное решительное лицо, его сильную худую фигуру, видит, как далеко он выбрасывает лыжи и как резко толкается палками.

Наглядевшись, она поворачивается к троллю, но того уже нет, все глухо кругом, ярко светит луна, широко раскрыли свои мохнатые ресницы изумрудные звезды и падают, падают с елей и сосен шапки снега, повисая в лунном свете легчайшими столбами снежной пудры.

3

На другой день она просыпается поздно, когда солнце уже дымно бьет в окно, лежит, расчерченное переплетом окна, палевым квадратом на полу. И опять несказанно радует, поражает ее новый день, голос диктора: «Руне Рига!», свежий морозный воздух из форточки, запах кофе и тепло дома. Все утро она поет, танцует, когда никто не видит, подражая троллям, и падает лицом в подушку в приступах беспричинного смеха.

А после полудня, не вытерпев, снова приходит к Оленьим Рогам, боясь даже посмотреть, повернуть лицо в сторону дома. Ей кажется, что тролли рассердятся, если опять увидят ее здесь. Но она уже ничего не может поделать с собой. Неуверенно смахивает она красной варежкой пушистую утреннюю порошу, садится на пень и, вздохнув несколько раз откры-

тым ртом, набравшись решимости, поднимает глаза на дом.

Дом необитаем, жалюзи его глухи, тускло блестят оленьи рога на стене, окно в мезонине закрыто. Троллей нет! Она ищет свои ночные следы на снегу, но следов не видно, и у нее обрывается, падает сердце от горького разочарования. Значит, она не приходила сюда?

Она вскакивает, бежит к ограде, уже не таясь пролезает в дыру, нагибается, пристально рассматривает, даже щупает ослепительный, ровный снег. Нет, ничего нет — одна заледенелая собачья тропка к сосне! Она подходит к дому, обходит его, трогает дверь, узнает окно, на которое показывал ей тролль, ищет щель, но ставни плотны, а дверь наглухо заколочена. И нигде никаких следов, и не было троллей, не было музыки, свечей, пылающего камина... И впервые ей становится невыносимо больно и одиноко, и она плачет, стирая варежками слезы со щек.

Среди сосен показывается лыжник, стремительно слетает с холма, поднимая снежную искрящуюся пыль, взбирается на другой и скатывается уже с него, чтобы взобраться на третий и так бежать вдоль моря, вздымаясь и пропадая.

Она сразу узнает его, прячется за угол дома и, всхлипывая, следит за ним. Она уже ничему не верит и, когда лыжник исчезает в лесу, вытирая слезы, идет посмотреть, остались ли после него следы.

Поднявшись на холм, набрав в ботинки снегу, она видит глубокий пушистый след, круглые ямки и чирканье палок, изумленно оглядывается и узнает все, что показал ей тролль: прекрасный мартовский день, голубые ели, темно-зеленые сосны, совсем освободившееся ото льда море, — ей делается радостно, она опять верит в чудеса, в сны и сказки, она улыбается, поднимает порозовевшее, похорошевшее лицо, вытягивает горло, прикрывает влажные еще ресницы, кричит: «Эге-ге-аой!» — и с восторгом слушает звонкое, крепкое эхо.

И сразу, услышав этот ликующий зов, тормозит палками и останавливается лыжник, поворачивает

назад разгоряченное бегом лицо, ждет и не дождавшись ничего, резко, разбрасывая снег, перекидывает лыжи и мчится назад по своей лыжне.

А она с колотящимся сердцем стоит, спрятавшись за сосну, прислушивается, ждет ответа, — счастливая, в распахнутом пальто, в красной, почти такой же, как у троллей, шапочке, с обнаженной тонкой шейкой, с большими темными глазами на пылающем лице.

Какого ответа спрашивает она у сосен, у моря, у весны? Почему снится ей музыка, и почему летает она во сне? Почему так томительно-важно было ей, что скажет тролль? Почему у нее такое лицо, с такой улыбкой встречает она каждый новый день и так уверенно и страстно ждет чего-то?

И кто найдет ее, кто угадает, чего же она ждет?

1958

СОДЕРЖАНИЕ

Казаков Юрий Павлович
НА ПОЛУСТАНКЕ

Редактор *Г. Э. Воднева*

Художник *Кеша*
Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректор *В. Н. Стаханова*

Сдано в набор 16/IX 1958 г. Подписано в печать 24/XII 1958 г. А-10745 Бумага $84 \times 108^1/_{32}$. Печ. л. 6 (9,84) Уч.-изд. л. 8,93
Тираж 30 000. Заказ № 1496
Цена 3 р. 70 к.

Издательство „Советский писатель"
Москва, К-9, Б. Гнездниковский пер., д. 10
Типография им. Володарского Ленизадата
Ленинград, Фонтанка, 57